

A close-up photograph of a horse's head, focusing on its eye and the texture of its mane. The horse has a light-colored coat, possibly grey or white, and its mane is long and light brown. The eye is dark and partially closed, with long, dark eyelashes. The background is softly blurred, showing more of the horse's head and neck.

Адель
ХАИРОВ

ПОДКОВА
ТАМЕРЛАНА

А л е т е й я

Адель Хаиров
Подкова Тамерлана

«Алтейя»

2020

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Хаиров А.

Подкова Тамерлана / А. Хаиров — «Алетья», 2020

ISBN 978-5-00165-188-8

В книгу Аделя Хаирова «Подкова Тамерлана» вошли рассказы, написанные в разные годы. Объединяет их место действия — Казань и её окрестности. Провинциальный полудеревянный город на Волге, населённый потомками русских стрельцов и узкоглазой порослью, проклюнувшейся из семян поверженного дуба. В этом сборнике рассказов — воспоминания о детстве под крылом бабушки и сюжеты, взятые из жизни. Автор, как соглядатай, ходил и запоминал. Доставал тюбики слов и писал с натуры. Он искал в серой толпе странных людей. Эта «народность» его очень интересовала. Он чувствовал, что они знают что-то такое, ради чего стоит жить на земле — вставать по утрам и ловить восходящие потоки воздуха. Жизнь обретала смысл. И тогда тихий мир на улице Тихомирнова в Казани с качающимися золотыми шарами в палисадниках, вдруг становился глубоким, как колодец с утонувшей звездой, высоким, как гудящая колокольня и, объёмным, как мыльный пузырь.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-00165-188-8

© Хаиров А., 2020

© Алетья, 2020

Содержание

Вещный мир детства	6
Дверь в детство	8
Там ждут меня	8
Дорога на дачу	9
Цыганский табор	10
Встреча с молнией	11
В меду заката	12
Тайна летней ночи	13
Три сестры	14
Две разные Казани	16
Начитанный старьёвщик	17
Сказка дедушки	18
Извозчик Самат	19
Суконная слобода	20
Старая знакомая	21
Подкова Тамерлана	22
Нашествие татар	24
Сапоги с вином	27
Клюка Аглаи	29
Утёс отшельника	31
Шабашник Надир	34
Мубарак из деревни Каляпуш	36
Умирили сверчки...	38
Тумырщик Семендей	43
Дыра	47
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Адель Хаиров

Подкова Тамерлана. Сборник рассказов



Вещный мир детства

...По текстам автора этой книги пишут серьезные работы о мифе Казани, а в его фамилии, тем не менее, вьется легкомысленный хайр быстрокрылой юности. И потом, все давно уже поняли, что на «великих вехах» и прочей «коллективной памяти» в разговоре о нашем прошлом далеко не уедешь, и ценность имеет лишь так называемая микроистория. Из осколков которой и складывается калейдоскоп жизни, о которой речь в этих рассказах – минувшей, почти исчезнувшей.

Вещный мир детства и юности в книге Хаирова – это шестидесятые и, соответственно, семидесятые годы прошлого столетия, и поскольку время тогда, в сущности, застыло на целые десятилетия, то и рассмотреть его можно было без особых усилий. Оно тянулось, словно струя меда у Мандельштама, и успевали не только рассказать сладкую сказку, но и прожить пару жизней – незаметных и неслышных, ощутимых лишь на ощупь. Подобная «тактильная» специфика присуща и поэтике Хаирова, он лишь вскользь, даже не в рассказах этого сборника, а где-то на периферии журналисткой судьбы мог заметить о том, какой он на самом деле старый – помнит чернила в школе и еще кучу прикладных вещей из детской реальности. Кто же их не помнит, казалось, из поживших в эпоху кукурузы и копеечной воды из автомата, героев-космонавтов и врачей-вредителей. Хотя, какая там Терешкова, когда «забрался на телегу, взял в руки вожжи, крикнул «но-о-о», и тут же перестал мечтать о скафандре Гагарина и захотелось стать извозчиком, таким как Самат».

И в том-то и дело, что из всего ассортимента наглядной агитации того времени, пестрой колодой мелькающей в руках дежурных шарлатанов-мемуаристов, у Хаирова – лишь те вещи, которые не вынесешь тайком в блокноте агитатора в свои будущие воспоминания. Запахи, звуки. «Мой нос многое помнит, – соглашается автор. – Нет-нет, да и появится в ноздрях дурманящий запах бензина из кабины грузовика, острый солярочный – от шпал и придорожной травы, сладковатый – от пивных дрожжей, горячий хлебный – от потной лошади». Эти «компоненты» памяти как раз и есть передуманное и пережитое, снящееся и мерещащееся в каждом скрипе входной двери. Спросить бы, кто там – может, бабушка вернулась. «Она что-то спрашивает, но ответить не могу. Пирожок мешает!»

Хотя, конечно, можно и не отвечать, ведь все равно не страшно – личную память не утащить в ливерную историю страны, и можно смело вспоминать, что детство это там, где «деревянные ступени попискивали, как котята», «с обжигающей горки молодой картошки неумолимо скользит вниз, разрушаясь, куб сливочного масла», а «под кроватью слышалось чревоугодное потрескивание запасённых впрок огромных астраханских арбузов, которые в дом затаскивали матросы двухпалубного парохода под названием “Семнадцатый год”». Какого еще Носова вам надо?

Кроме того, о детстве-отрочестве-юности неподалеку и где-то рядом писали многие, каждый со своим личным придыханием, столичным или не очень акцентом и авторской, как водится, интонацией, но в случае с прозой Хаирова его рассказы о прошлом – это еще и роскошная экзотика, забытое пиршество красок вроде живописи Сарьяна и Пиросмани, в описываемое время не особо популярных классиков стиля. Убегали дети у Чехова, стояли табором цыгане у всех остальных. Здесь вроде бы все по накатанной, ведь библиотека приключений от Жюль Верна до Фенимора Купера особо не изменилась со времен «проклятого» царизма, и Словарем Брокгауза и Ефрона вполне можно было обойтись – та же Большая советская энциклопедия только без космонавтов. Главное, добавить к Чехову местного чеснока, и получится еще тот Монтигемо Ястребиный Коготь! «Осенью в детсаде я подбил на побег двух приятелей. Уйти далеко нам не удалось. Погоня шла по пятам. Чтобы меня не узнали, я надел картуз задом наперед и пошёл прихрамывая».

Безусловно, некая «интернациональность» и связь с «традицией» в этих казанских рассказах присутствует, но всего лишь намеком, упомянутой умозрительностью модных среди интеллигенции художников. А так, конечно, чеснок, да. Гладиолусы-фламинго, мыши-огурцы и брат дедушки – горбун Габдрахман. И еще, как у Кальпиди, в вазочке крыжовенного варенья завяз пропеллер осы. А вы говорите, «Мои университеты» Горького, где Казань – сплошная ночлежка, или же трущобы советского времени в рассказах старших друзей. У автора этой книги – свой личный временник. «В эти дни, – напоминают нам, – казалось, что ещё немного и в палисадниках завьётся кишмиш, а тыквы в огородах засахарятся дынями. На резной веранде с ляжками балясин появятся грузинские князья с полными рогами и, подкрутив усы, затянут “Сулико”». И еще точно известно, что тогда всегда было лето, и не потому, что семидесятые все никак не желали скончаться в благословенном «застое», а просто каникулы памяти – они такие, любят душевную теплоту, уход и любовное окучивание, словно на школьном огороде во время летней практики. «Казань в июле превращалась в южный городок – легкомысленный, позабывший напрочь, что такое зима. Может её больше не будет, и надо бы продать шубу с малахаем! Извините, а снег, он какой? Вы помните? Неужто похож на пломбир за 19 копеек?»

Как бы там ни было, но, с одной стороны, узнать из этой волшебной книги о живущих в то время людях, пускай даже «по их открытым лицам, как по школьным тетрадкам, легко читается вся монотонная жизнь сельчанина с единственным путешествием – в армию» – и горько, и странно, и легко. С другой стороны, гораздо труднее представить, что подобная роскошь – это все что остается в запасниках «народной» памяти, где жизнь, словно в русской деревне неподалеку от Казани «замерла, как будто бы кончилась». И нет долгих лет советского беспмятства как истока всей нашей дальнейшей амнезии...

Игорь Бондарь-Терещенко

Дверь в детство

Там ждут меня

Во сне я открыл входную дверь в свой дом на улице Тихомирнова в Казани. Ощутил её вес и вспомнил запах в сенях – сладковатый, пыльный. Деревянные ступени попискивали, как котята, на них всегда были кляксы от коромысла.

Вошёл в свою квартиру, а там окошко распахнуто в сад. Шторка бултыхается. Солнце, пропущенное сквозь осенние листья, заливает мой сладкий сон. Вдруг яблоня-китайка с шумом осыпалась и золотые шарики запрыгали по земле, освещая сад снизу. Я зажмурился!

Золотые китайки никогда не собирали, считая их мусором, потому что в бахче на окраине Казани наливались райские яблочки – они просвечивали на солнце так, что можно было разглядеть чёрные семечки, застывшие в загустевшем меду, как букашки в янтаре.

В зале для меня накрыт обеденный стол: по-бабьи повизгивает электросамовар, изумрудно светится крыжовенное варенье, абрикосово – абрикосовое. Стол, в луче солнца, ликует всполохами. Над курицей висит жёлтый ореол жира, варёная морковь бросает на скатерть оранжевые полосы, в небольшой квадратной площадке квадратом Малевича мерцает осетровая икра. С обжигающей горки молодой картошки неумолимо скользит вниз, разрушаясь, куб сливочного масла.

Бабушка нажарила целый тазик пирожков с малиной и накрыла их салфеткой. Её руки в муке, и я уворачиваюсь от объятий. Она что-то спрашивает, но ответить не могу. Пирожок мешает!

После обеда меня ждал полумрак спальни, где окна запирались ставнями изнутри, на тело накатывали волны стёганого одеяла с узбекским орнаментом, накрывая с головой. Под кроватью слышалось чревоугодное потрескивание запасённых впрок огромных астраханских арбузов, которые в дом затаскивали матросы двухпалубного парохода под названием «Семнадцатый год» (до революции он именовался «Двенадцатый год» в честь Бородинского сражения).

Матросы были в тельняшках, арбузы – тоже. Один выскользнул из потных ладоней и радостно поскакал по ступенькам. На последней подскочил и раскроил себе голову о косяк. Сахарные мозги потекли по стене...

Вне всякого сомнения, «лето» произошло от слова «лепота»! В нём есть и «пот», и «слепота» от безумного солнца и каких-то сарьяновских красок.

Помню, как сикалки, сделанные из флаконов шампуни «Алсу», весело дырявили июльскую жару, а под вечер во двор важно выходил пожарный на пенсии дядя Миша и резал её струёй из шланга с латунным наконечником. В эти дни, казалось, что ещё немного и в палисадниках завьётся кишмиш, а тыквы в огородах засахарятся дынями. На резной веранде с ляжками балясин появятся грузинские князья с полными рогами и, подкрутив усы, затянут «Сулико».

Казань в июле превращалась в южный городок – легкомысленный, позабывший напрочь, что такое зима. Может её больше не будет, и надо бы продать шубу с малахаем! Извините, а снег, он какой? Вы помните? Неужто похож на пломбир за 19 копеек?

Мороженщица на углу, открывая короб, шарит в леднике, нащупывая заиндевевшие брикеты и вафельные стаканчики. Нарочно тянет, наслаждаясь холодным паром. Красные пальцы у неё в снежке. Она на них дует, отогревая. Кто-то в очереди шутит: «Ты бы варежки надела. Не то задубеешь!»

Дорога на дачу

Бабушка будила меня часов в шесть. Я завтракал с закрытыми глазами. Мы влезали в полупустой троллейбус у кинотеатра «Победа» и отправлялись на окраину Казани. За окном хмурые дворники подметали солнечные зайчики, загоняя их в совки. Полусонные прохожие отскакивали от хамоватой метлы, которой дяденька в грязном фартуке размахивал как косой, а девушки с визгом пробегали под сверкающими горошинами, вылетающими из шланга.

Выгружались на конечной, ловили попутку – какой-нибудь пыльный «ЗиЛ», который подбрасывал до поворота. И отсюда по шпалам узкоколейки направлялись к заветной даче. Бабушка тащила пластмассовые корзины со снедью, я – бидон с яйцами. Шли мимо бесконечного забора пивзавода, откуда вырывался на просторы пьяненький ветерок. Спускались на просёлочную дорогу, и там нас иногда подбирала какая-нибудь телега, бредущая в посёлок.

Мой нос многое помнит. Нет-нет, да и появится в ноздрах дурманящий запах бензина из кабины грузовика, острый солярочный – от шпал и придорожной травы, сладковатый – от пивных дрожжей, горячий хлебный – от потной лошади. Но вот мы оказывались у голубой калитки садового товарищества. За ней обрывались дорожные запахи и тебя начинали обволакивать сотни всевозможных туманов и ветерков, которые текли из садов гурьбой наперебой...

Я видел, как одни из них вздымаются самоварным дымком к бирюзовому небу, другие стелются по росной траве, третьи виснут на плечах, как пёстрые ленты, и тянутся к нежному горлу. Можно было часами ходить по садовому товариществу и разглядывать носом!

Наконец мы подошли к своей даче. Осталось только отомкнуть амбарный замок...

– Салям-элейкум! – кричит моя бабушка соседу.

Джапар-абый¹, помешивая черпаком в тазике варенье, поднимает заплаканные от дыма глаза, и машет рукой, подзывая. Она посылает меня к нему с кружкой. Он накладывает тёплую фиолетовую пенку до краёв, и мы с бабушкой пьём чай, макая куски белого пшеничного хлеба в кружку. Губы у нас фиолетовые. Их хочет поцеловать оса.

¹ Абый (*татар.*) – обращение к старшему по возрасту мужчине.

Цыганский табор

Как-то на полянке за нашим забором расположился цыганский табор. На ветках сушилось пёстрое бельё, на костре кипел чёрный казанок, дети резвились, как кутята, чуть в сторонке на складном стульчике, как на троне, восседал седой цыган в широкополой шляпе и пускал дымок. Он наблюдал как бы со стороны за происходящим, а когда что-то говорил, то его рот начинал сверкать золотом. Все замирали и слушали. Стреноженный конь шевелил ушами. У женщин даже монетки в косах переставали звенеть.

На утро табор исчез. Ветерок раздувал золу погасшего кострища и гонял бумажки по вытопанной лужайке. «А куда ушли цыгане?» – спросил я бабушку. «Туда! За кордон...» – махнула она рукой за горизонт. И мне страшно захотелось «за кордон», который начинался на стыке леса и неба, за сиреневой акварельной полосой, похожей на след беличьей кисти по пузырьчатому ватману.

Осенью в детсаде я подбил на побег двух приятелей. Уйти далеко нам не удалось. Погоня шла по пятам. Чтобы меня не узнали, я надел картуз задом наперёд и пошёл прихрамывая. Но мою уловку быстро раскусили.

Встреча с молнией

Помню молнию вблизи. Мимо пробежал испуганный дождик, потом дачный посёлок стали обстреливать пушки из чернильных туч. Заряжай, пли! Косые струи пахли свежим огурцом, они избили флоксы и помидоры. Даже пики из алюминиевых трубок не помогли. Мы с приятелем с испуга залезли на старую иву. Но снаряды били всё ближе – сначала ржавый столб электросети мелко задрожал и покрылся инеем, затем вскипела железная бочка водонапорной башни. Стоял гул, запахло морозом. Следующей целью должна была стать наша одинокая ива. Мы дрогнули и попадали вниз. И тут же дерево в четыре обхвата детских рук треснуло от вошедшего в него лезвия. Молния была ярко-синяя, холодная, как средневековый меч. Нас расшвыряло от взрыва. Выглянуло солнце и земля запарила. И вдруг мы увидели голый ствол ивы. Она дымилась, и весь склон был усеян узкими листочками с её поверженной головы.

В меду заката

Летний вечер, ясный, как стакан сладкого чая с лимоном. Я тоже, как ложечка, перестал звенеть. Затих, задумался. Наблюдаю, как закуток сада, где ещё шпарит солнце, тихо наполняется мёдом. На дачный домик наползает сиреневая тень. Флоксы, примятые ливнем, принялись поднимать растормошенные головы. Вижу, как лепестки превращаются в белых бабочек, которых клюют длинноногие фламинго, – это гладиолусы. Продолговатый кабачок ползёт питоном к зелёным мышам – огурцам. И даже оставленный на раскладушке мамой журнал «Работница» показался живым – попытался взлететь, но мокрые страницы были тяжелы.

Появилась бабушка и стала читать вслух сказку «Су анасы» (Водяная) из зелёной книжки. До этого она чистила лещей и чешуя набрызгала на волосы. Вдруг мне почудилось, что она – русалка, и только прикидывается бабушкой. Я испугался.

Так как бабушка работала, то для присмотра за мной был выписан из деревни брат дедушки – горбун Габдрахман. Он появился на следующий день после того, как по телеку показали спектакль «Карлик-нос», и принялся, бормоча, готовить на кухоньке суп. Я сидел на стульчике и зачарованный смотрел, как качается горб под шерстяной жилеткой и переминаются ноги цапли в больших тапочках. Он был явно из сказки.

Тайна летней ночи

Ночь всё меняет. Сад трогает тебя чёрными ладошками, ловит лицо натянутой паутиной, бросает за шиворот паучка. Чьи-то цепкие руки хватают за ноги и крадут сандалик. Красные ягоды наливаются чернилами. Огурцы и те будто измазаны сажей – висят баклажанами. Золотой ранет – обуглился, яблони шумят – шепчутся друг с другом. Близкие люди становятся чужаками. Я не узнал бабушку, идущую по тропинке. Потом увидел, как за забором покачнулась огородное чучело в шляпе и засеменяло к дому. В мутном свете окна оно вдруг превратилось в соседа. Чудеса!

Как-то ночью на дачу нагрянули дядины друзья, все под хмельком. Дядя достал с чердака припрятанную рыболовную сеть, и они отправились в залив. Бабушка принялась стряпать. Я проснулся и присел рядом с ней. Шипела и брызгала скорода, одно яйцо покатилося и разбилось, мука просыпалась на носки бабушкиных бабуш².

Вскоре в саду послышались голоса. Из тьмы начали выныривать лица. Парни как будто бы снимали с голов чёрные чулки. Все были мокрые, от них пахло тинной. В круге света с грохотом появились три ведра, полные выпрыгивающей краснопёрки.

² Бабуши – восточные туфли без задника.

Три сестры

На дачной веранде за круглым столом сидели три сестры и подносили к губам тёмно-зелёные пиалы с золотыми ободками. Тульский самовар «Баташев и сыновья» пел тюркскую песню и отражал их раскрасневшиеся лица с надутыми щеками: старшая Марьям, средняя Гульсум и младшая – Альфия. В вазочке крыжовенного варенья завяз пропеллер осы. Шмель отяжелел и уже не мог оторваться от липкой лужицы... Помню, как приехал издалека младший сын бабушки со своей невестой Лидой. Он был военным и служил где-то на Камчатке. Пошуршал бумажным пакетом и торжественно выставил на стол трёхлитровую банку красной икры. Явно хотел удивить. И тут в ответ откуда-то из-под вафельной салфетки вдруг материализовалась трёхлитровая банка... чёрной осетровой икры из бабушкиных закромов. И его мягко пожурили: «Ты забыл, мы же не едим красную».

Думаю, если бы дядя Зуфар – стройный советский лейтенант, приехал с татаркой, то бабушка была бы рада даже щучьей икре!

Пища на нашем столе была очень жирная, калорийная, много мучного, сдобного. На плите в огромной кастрюле булькала шулпа³ из баранины, один запах которой уже насыщал. Если рыба, то только огромные лещи, жаренные в масле до золотистой корочки. Каждый день лакомились сладкой выпечкой. Пекли медовые коржи и смазывали их кремом из сгущёнки. Чак-чак, баурсак, медово-ореховая пахлава, песочное рассыпчатое печенье... – всегда громоздились в фарфоровой глубокой вазе. Из новомодных делали многоэтажный торт «Наполеон».

Сёстры своим вкусам не изменяли, воздерживаясь только на Рамазан⁴, и покидали этот свет нехотя, друг за дружкой, когда им было уже за девяносто.

Вскоре после раскулачивания (семейное предание гласит, что у прабабушки Латифы какой-то рьяный чекист вырвал серёжки из ушей, не дожидаясь, когда та их снимет) и ссылки на хлопковые поля Узбекистана, большая семья обосновалась в Самарканде. Шло время, закончилась Великая Отечественная война, и сёстры на свой страх и риск вернулись в Казань. Купили в Старотатарской слободе деревянную избушку рядом с «родовым гнездом» – двухэтажным кирпичным домом, в котором теперь разместилась контора макаронной фабрики. Жили тихо, скрытно, никому не рассказывали, что ати⁵ был родом из Стамбула, по фамилии Муштаки, что в Казани он торговал мехами и тканями. Здесь и женился на знатной татарочке, бренчащей монетами в тяжёлых косах.

От прадедушки Ибрагима мне осталась мятая фетровая шляпа, в ней он сфотографировался на лавочке у крыльца. Над его головой листья шумят, кое-где проглядывает крупная антоновка. Он опёрся о резную палку из орешника и, заглядывая в будущее, пристально рассматривает меня...

Давани⁶ готовила в саду на костре в большом закопчённом казане настоящий узбекский плов с жирными кусками баранины на кости и нарезанной соломкой морковью. На кухне она всегда была перепачкана мукой и напоминала большой пирожок. С помощью волшебной скалки рождались пушистые пироги – мясные, рыбные, капустные, тыквенные, с курагой, чёрной смородиной, малиной и вишней. Помню, какой у неё зимой получался пирог с начинкой из варенья-пятиминутки, где каждый слой теста, как сладкий полупрозрачный пергамент, можно было легко «перелистнуть» или скатать в трубочку. Нож быстро-быстро стучал по доске, и прямо на глазах вырастал невесомый холмик лапши. Иногда давани начинала крутить в руках

³ Шулпа (*татар.*) – бульон.

⁴ Рамазан (*араб.*) или Рамадан – месяц обязательного для мусульман поста.

⁵ Ати (*татар.*) – отец.

⁶ Давани (*татар.*) – бабушка.

горячую косу карамели – разминать её и тянуть в разные стороны. После чего на столе появлялись тающие во рту белые колпачки талкыш калеве⁷.

Дома всегда было полно еды. Постоянно приходила близкая родня, дальняя и «седьмая вода на киселе», заглядывали знакомые, соседи, и застолье не заканчивалось. Чревоугодие для татарина – первейшее дело!

На Курбан-байрам обязательно у мечети Марджани покупались бараны. Их на ночь запирали в сарае, а утром точили ножи-топоры и принимались резать за домом, куда меня не пускали, затворяя ставни на окошках. Потом я восстанавливал сцену жертвоприношения по бурым пятнам на снегу или траве.

Иногда мне кажется, что это вовсе не они – три сестры – куда-то ушли от меня, это я ушёл от них. Но поплутаю по жизни и обязательно вернусь. Открою дверь своим ключом и тихонько подсяду за стол. Меня приобнимут, наполнят пиалу душистым чаем с молоком и пододвинут тарелку с куском ещё горячего пирога.

⁷ Талкыш калеве – восточное кондитерское изделие, которое ещё называют «сладким сеном».

Две разные Казани

Как-то вспоминали советскую Казань. Один знакомый, который приехал сюда жить в студенческие годы, описывал ужасные трущобы в центре города, где он у алкашей снимал тараканий угол. Говорит, это была настоящая ночлежка, описанная Горьким в «Моих университетах». Здесь тащили всё: мокрые штаны с верёвки, прищепки, трёхлитровые банки, как пустые (можно было сдать за 30 коп. в пункте приёма стеклотары), так и с солёными огурцами и помидорами, трёхколесные велосипеды, санки, посуду... Всюду грязь, вонь. Отхожее место гудело мухами. Я удивлённо слушал его и вспоминал совсем другую Казань...

Снова вижу высокое крыльцо с деревянными ступеньками. Соседка Люся вымыла лестницу, да так чисто, что на влажной поверхности перламутром растеклось утреннее ещё не жгучее солнце. Зайчики с ней играют. Она взяла книжку, села на ступеньку и читает. Мама сказала, что Люся готовится к экзаменам. Двор был небогатый, но как будто бы застеленный ковром из травы-муравы. По нему можно ходить босиком. Здесь проживало много семей, но не припомню, чтобы было шумно. Может, потому, что наши окна выходили в сад. Большой, запущенный, бескрайний, с дичающими яблоками и вишнями. Он волнами спускался с горы и накрывал тенью купеческие дома.

Когда наступал май, у мамы начинала болеть голова от сирени, и она просила захлопнуть окошки. Сирень была крупная – белая и лиловая. Бабульки посылали на гору внуков нарвать букетов. Потом выстраивались у остановки, как покойницы, обложенные цветами, и просили за роскошный букетище – 15 копеек.

Помню соседа – длинноволосого Алёшу. Он жил на первом этаже каменной пристройки окнами на улицу. По вечерам выставял колонки и включал магнитофон. Это была *Yesterday*. Алёша натягивал клёши с бахромой, пущенной по канту, и вставал в воротах. Поза подуставшего после драки и виски ковбоя. Модные клёши ему на «Зингере» настрочила мама, а бахрома была срезана с бархатного занавеса в кинотеатре «Победа». В кармане у него лежала плоская батарейка, проводочки были протянуты под штаниной и подсоединялись к крашеным лампочкам от фонарика. Когда мимо проходила симпатичная девушка, Алёша включал гирлянду и ноги его начинали переливаться. Но это не срабатывало. Девушки в те годы предпочитали стриженных под полубокс комсомольцев со значком ГТО на груди.

Начитанный старьёвщик

Раз в месяц во двор въезжал на старой лошадке старьёвщик. Прокопчённый на солнце худой татарин в мятой суконной шляпе и длинном халате грузчика. Детишки выбегали покорить его Орлика хлебом и погладить горячий подрагивающий круп. Шумный восторг вызывало, когда тот, приподняв хвост, выдавал с пылу с жару золотые «пончики». В соседнюю «Булочную» именно лошадка доставляла с хлебозавода горячие буханки и батоны. Деревянные промасленные от долгого использования поддоны вставлялись в отсек под углом, чтобы хлебобулочные изделия скатывались вниз по мере убывания. На верёвочке висела длинная железная ложка, ею покупатели определяли свежесть.

Прочитав «Цветик-семицветик», я всё ждал, когда же появятся вкусно описанные Катаевым баранки, но в продаже были только с маком. Хотя я был уверен, что в Москве-то уж обязательно имелись все баранки из сказки, даже розовые.

За увесистые кирпичики журнала «Молодая гвардия», который целый год выписывала мама, старьёвщик предложил мне калейдоскоп. Запомнилось, что девочке-соседке за старое мамино пальто он дал пластмассовые часики с нарисованными стрелками и воздушный шарик со свистком.

Отъехав в глубокую тень Шамовского оврага, старьёвщик рылся в макулатуре и, отыскав какую-нибудь интересную книжку, ложился поудобнее на ворох старого тряпья. Орлик жевал листья и тянул телегу всё дальше в овраг. Здесь лопухи отрастали высотой с дерево, качалась ржавая с заусеницами крапива и шелестела дурман-трава – конопля. Старые шмели с мохнатыми лапками слетались сюда в закатный час и наркоманили. Соседка Нюра хихикала в кустах и, стягивая кофточку, говорила кому-то «нет, нет, нет». Но старьёвщик не видел всего этого и не слышал, он – читал.

Сказка дедушки

Настенные часы, запыхавшись идти, пробили в разнобой девять раз. Каждый удар имел форму медного шара. Выскочив из лакированного скворечника, он прыгал по комнате, и, превратив чешский буфет, заставленный хрусталём, в клавесин, убежал сквозь стены к соседям. Там рассыпался на мелкие шарики.

Дедушка не мог припомнить, куда подевал ключ от часов. Механизм изношенный, если встанет, то уже надолго. Вчера весь вечер рылся в ящиках письменного стола, сегодня принялся линейкой шарить под кроватью и шифоньером. Дедушка устал. Гнутые стулья стояли у нас вдоль стены. Он присел. Развернул газету, надел очки. Красной шариковой ручкой начал обводить телепередачи...

Бабушка принесла ему сердечные капли. И вдруг часы вздрогнули и встали. Дом погрузился в тишину. Он подозвал меня и сказал: «Давай садись рядом, я тебе сказку расскажу. Это старая сказка, ей уже тысяча лет».

Но из командировки на рижский завод «ВЭФ» вернулся папа. Он привёз мне немецкую легковую машинку с тросиком, на конце которого был пульт управления. Не отрываясь от игрушки, я лишь отмахнулся: «Завтра расскажешь».

Помню, как проснулся посреди ночи и увидел, что дедушка зажёл свет на кухне. Двустворчатые двери были с расплывчатыми стёклами, похожими на тающий лёд, и свет в них красиво мерцал. А утром меня отвели к родственникам. По дороге в кармане пальтишка я нашупал холодный ключ от часов, достал, и начал грустно свистеть. Как он там оказался, не знаю.

До сих пор нет-нет да и пожалею, что не послушал сказку своего дедушки. Уверен, то была непростая сказка. Последняя!

Извозчик Самат

В городе лошадей тогда было много, а машин – мало. И, значит, повсюду стоял запах дымящегося навоза, свежескошенного сена и лоснящегося перламутром на конском крупе пота.

В бакалеях имелась даже штатная единица – «извозчик с гужевым транспортом». Интересно, как выдавали зарплату самой лошади? Может хлопьями «Геркулес»?

Хорошо помню одного такого извозчика – Самата. Высокий, сухопарый, в брезентовом плаще до пят. Он казался мне богатырём.

Пока лошадь, опустив морду в холщовый мешок с корками, вкусно хрумкала, он перетаскал привезённые доски на дачный участок. Я забрался на телегу, взял в руки вожжи, крикнул «но-оо», и тут же перестал мечтать о скафандре Гагарина, мне захотелось стать извозчиком, таким как Самат! Я даже подумал, что такое имя дают всем извозчикам, потому что оно заканчивалось на «ат» – «лошадь».

Самат подошёл, раскрыл широкую ладонь с красной печатью подковы и сказал: «Будь послушай, не подходи к нему сзади, а то она лягает!» Затем показал обрубок мизинца и вздохнул: «Спереди, малай⁸, тоже не подходи – она кусает!»

Я перепуганный отбежал от лошади. Самата позвала бабушка, попросила выкопать высохшую яблоню-трёхлетку. Он, отстранив лопату, ухватил деревце одной рукой за ствол, потянул и легко выдернул из земли.

Деревенский житель в своей родной стихии, запрягает ли он лошадь, тюкает ли по бревну топором, шелушит ли в чёрных пальцах зерно... – красив и благороден. И не приведи Аллах перенестись ему с сельских просторов, пронизанных солнцем и ветром, в узкий и сумрачный, как темница, заводской цех на окраине города с забегаловкой у проходной. Всё – угаснет лесной цветок! Самата только родная лошадь и выручала. Думаю, любил он её, несмотря на отбитую ладонь и откушенный палец, как жену, а может и больше! Недаром у татар есть поговорка: «Умный хвалит лошадь, дурак – жену».

⁸ Малай (*татар.*) – мальчик.

Суконная слобода

После развода родители разменяли квартиру на улице Карла Маркса на две комнатухи в коммунальных бараках на окраине города. За домом начинались колхозные поля. Весной они становились изумрудными. Звенели, пели, переливались, а по поверхности ходили волны. Я думал, глядя в окошко, а если уйти туда – до самого горизонта, что там?..

Но вот пришло время отдавать меня в школу, и мама вернулась в родительское гнездо – кажется, свобода ей порядком поднадоела, жили мы бедновато – так я оказался под нежным и сытым присмотром бабушки в старом купеческом доме в Суконной слободе, про которую мой земляк и сосед (с коим мы разминулись по времени) Фёдор Шаляпин тепло вспоминал всю жизнь. Как-то избив на гастролях в Париже хориста за фальшивую ноту, он затем явился к тому в больницу с водкой и закусками. Они выпили в палате и расцеловались, «предав сей печальный инцидент забвению». После чего певец сказал: «Суконку мы всюду возим с собою!», пояснив, что в его родной слободе в Казани всегда так делали. Сначала били в кровь морды друг другу, а затем обнимались и слёзно умоляли простить ради бога...

Старая знакомая

Повзрослев, я стал частенько наведываться в родные места: побродить, подышать, посидеть на лавочке. Помню, стоит жара под сорок, липа медоносит, девушки спят солнечными коленками осоловевших мужчин, бродячие собаки изнывают в своих шубах и даже не твякают на меня. Хотя, какой я чужак?

Обогнув бывший кинотеатр, я оказался в родных местах – на улице, где растаяло моё детство-эскимо. Направился к единственной в округе чугунной колонке с истёртой до серебряного блеска ручкой. Старая знакомая! Давлю на ручку и она, заурчав, выдаёт тёплую самоварную струйку. Пью, пью...

Когда-то ледяная струя больно резала ладонь. Дедушка сказал мне, что из этой колонки пил сам Александр Сергеевич, когда гулял по Казани. Я усомнился, ведь пить из неё невозможно, губы сносит, тогда дедушка предложил версию, что Пушкин пил прямо из цилиндра...

Наконец я утолил жажду и тут почувствовал спиной тень. Она лёгкая, ажурная. Оборачиваюсь, это деревянный дом меня заботливо накрыл. Потемнел, осунулся, видно, скоро ему – ханá. Как и всей этой старой улице...

Двухэтажный дом моего детства скрипел каравеллой Колумба в лиловых волнах крупной сирени. Ступеньки, бегущие на палубу, постанывали под быстрыми ногами. Горячий ветер вздымал тюлевые паруса, и тогда приоткрывался уголок каюты – стена, оклеенная жёлтыми обоями, спинка кровати и высокое старинное зеркало, в котором отражается профилёк мальчика, похожего на меня. Он поднял воротничок белой школьной рубашки на манер Пушкина и, покусывая кончик страусиного пера, прихваченное из зоопарка, старательно выводит буквы своей первой поэмы со смелым названием «Руслан и Людмила».

Поза мечтательная и даже высокомерная. В этом образе он вышел на улицу ни с кем не здороваясь. Тёмно-вишнёвые мальвы, которые девочки называли «Мальвинами», удивлённо повернули головки в оборках в его сторону.

Вечерело. Дядя Миша открутил вентиль. Шланг зашипел, извиваясь питоном. Пляшущая струя окатила дома. Первые капли испарились на глазах – кирпичные стены были как печки. Кошки изнывали в тени. Редкие прохожие плыли над горячим асфальтом и исчезали в мареве...

А во дворе стоял мокрый пиит. Спесь с него смыло, и он снова стал самим собой.

Подкова Тамерлана

Подобрав на обочине подкову, я представил себе играющие на солнце мускулы ахалтекинца, который жевал ромашки. Лепестки залепили ему губы. Налетел полынный ветер и засвистел, поманив в степь. Скинув железо с копыт, конь рванул за ним... Я дал аргамаку имя – Тамерлан!

С тех пор подкова, отшлифованная до блеска, хранится у меня под диваном, напоминая о далёких предках, которые большую часть жизни проводили в седле, и становились похожими на кентавров. А ещё висит у меня на балконе деревянное колесо с кованым ободком от телеги...

Помню, как ранним утром по пятикилометровой дамбе, которую возвели близ Казани от большой воды с Волги, шлитянулись бесконечные подводы – скрипя колёсами, брэнча бубенчиками под дугой, стуча пустыми вёдрами, прикреплёнными к облучку. Лошадки, как хохлушки, были украшены разноцветными лентами, в гриву вплетены полевые цветы, чёлки кокетливо подстрижены. Оглобли и дуги свежескрашенны, колёса очищены от навоза, в телегу на сено брошено старое лоскутное одеяло. Баянисты, разминая пальцы, пробегались туда-сюда по гладким кнопочкам, похожим на таблетки, громко зевали, и заодно с ними раскрывали свои алые рты немецкие аккордеоны. Татары в телегах шумели, приодетые к празднику. Белые пятна рубах, бликуя, мялись снежными комьями, вышитые золотым гарусом тёмно-зелёные распахнутые жилетки топорились на ветру, как жёсткие крылья июньских жуков. Скуластые, жилистые, уже закопчённые с мая месяца лица светились в предвкушении байрама⁹.

Тюркская узкоглазость – следствие палящего солнца, степной пыли, знойного ветродуя со стеклянным песком или февральского со льдом, а ещё хитрой ухмылки, которая стягивала морщинками виски. По таким открытым лицам, как по школьным тетрадкам, легко читается вся монотонная жизнь сельчанина с единственным путешествием – в армию. О службе в отдалённом гарнизоне, о том, как особенно изопрённо измывался над татариним-солдатом сержант, в сотый раз, пыхтя папироской, пересказывали на завалинке, смакуя подробности. Вот это было событие!..

С шести до девяти утра скрипели телеги, съезжаясь к Берёзовой роще на краю Казани, где в июне устраивали городской Сабантуй. Под дамбой стояла наша дача – голубой домик, окружённый смородиной и малиной. Было мне тогда лет шесть. У дороги, за забором, мелко шумели раскосыми листочками старые ивы, и в проёме деревьев, как на сцене, ехал и шёл, приплясывая, весёлый народ. Я выносил складной рыболовный стульчик и смотрел на неизвестных мне деревенских татар. Пёстрая звенящая лента из нарядных телег тянулась и час, и полтора...

Соседи, Марзия-апа и Джапар-абый, бросали мотыжки и лейки, выходили из своих калиток и глазели на соплеменников, с которыми они давно уже утратили связь, отгородившись холодными панелями хрущёвок со всеми удобствами. Обрато с Сабантуя телеги возвращались в разнобой. Казалось, что и лошадки были пьяненькими. В телегах, прямо на мягкой горке из городских булок и бубликов, вповалку спали татары, утомлённые жарой и весельем. Бубенчик устало бубнил. Гармонь, вырвавшись из ослабевшей ладони, выплёскивала в горячую дорожную пыль торопливую кучу звуков. Иногда кого-то теряли, а потом возвращались и кричали осипшими голосами, рыская в тальнике вдоль дамбы: «Гайфулла, син кайда?»¹⁰, «Акрамбай, тавыш бир!»¹¹ А утром мы с пацанами находили на дамбе медные деньги, ключи

⁹ Байрам (*татар.*) – праздник.

¹⁰ «Гайфулла, син кайда?» (*татар.*) – Гайфулла, ты где?

¹¹ «Акрамбай, тавыш бир!» (*татар.*) – Акрамбай, отзовись!

от амбаров, мятые тюбетейки, а ещё рассыпавшиеся и расплющенные карамельки. Кисло стегивало зубы жёлтое тельце конфеты с лимонной начинкой. Для меня это был вкус Сабантуя! Когда я уже оканчивал школу, телеги с татарами куда-то пропали. Редко-редко проскрипит колесо по пыльной дороге. И осталась у меня от того времени и мифического народа лишь погнутая и истёртая подкова. Глядя на неё, опять слышу грустный баян и озабоченные голоса, которые ищут вывалившихся из телеги закадычных приятелей Гайфуллу и Акрамбая. Кажется, их тогда так и не нашли.

Нашествие татар

Солнечный день на макушке лета. На расплавленном серебре Волги чернеют поэтические джонки. Приближаясь к берегу, они становятся мятыми дюралевыми «Казанками» с бортами в чешуе и чихающим мотором. Река вместе с облупленным бакеном, грустно постанывающей на канатах пристанью, тяжеленным бушлатом с мокрыми рукавами... – всё пропахло лещами. Иногда одна из рыбин, очнувшись, пускалась в отчаянный пляс по дну лодки, опрокидывая банку с вялыми червями, которые на солнцепёке быстро превращались в погнутые гвоздики.

Гуляя по пляжу, я наткнулся на исполосованную винтами баркаса тушу сома. Измерил – семь шагов. Он возлежал, толкаемый в бок волнами, рваный смокинг его лоснился на солнце, усы шевелились. Вороватая ворона, боясь его и постоянно отпрыгивая, тянула из брюха кишки. Сом вонял всё лето, пока от него не остался лишь «доисторический» хребет с черепом.

Я открывал для себя эти неведомые берега, и было мне тогда двенадцать лет. Вдали, на выцветшем холсте неба, покачивался нарисованный город. Там тренькали будильниками жёлто-красные трамваи, визжали студентки, застигнутые поливочной машиной врасплох (цветы на платьях шевелились клумбой), на фоне щита с целующимися Брежневым и Хонеккером обнималась парочка.

А в русской деревне, всего-то в пятнадцати километрах от города по воде, жизнь замерла, как будто бы кончилась. После революции здесь заработал маломощный консервный завод, где делали кислую солянку и креплёное вино из гнилых яблок, которое продавали в трёхлитровых банках с косо наклеенной этикеткой. Свет в домах мигал и был мутен. Наверное, так светила лампочка Ильича. За молоком жители выстраивались в магазин с пяти утра. Жили бедно и лениво, за рассадой и то ездили в город на омике, оттуда же привозили мешками хлеб и водку. О прошлой жизни волгарей, окунавших новорождённых младенцев в лохань с чёрной стерляжьей икрой, до сих пор рассказывали сказки богатые фасады крепких домов на крутом берегу с потемневшими колоннами и балконами, похожими на палубы, где когда-то дымил маленьким пароходом самовар. В блюда важно опускались расколотые щипчиками кусочки сладкого мрамора, и тот темнел, разбухал и таял шугой во рту.

А внизу Волга лизала глинистый берег, прикидываясь верной псиной, но раз в году, весной или осенью, взбесившись, волна опрокидывала лодки, топя рыбаков. Выловив утопленников, их тянули в сетях к деревне. Они лежали на мелководье ничком и были похожи на сомов. На берегу причитали чёрные женщины...

Бабушка купила на краю деревни избу со всем скарбом сразу: мрачной керосиновой лампой и лукошками с запёкшейся кровью вишни, ненадёванными подковами и ржавым якорем, растяжками для сушки кроличьих шкурок и притихшей люлькой на крюке под потолком, дымарём пасечника и кованым сундуком, в котором мыши «читали» всю зиму толстенную Библию, оставив горстку бумажной трухи и чёрный мышиный рис... Хозяева исчезли внезапно. Бабка померла, сын утонул, внук подался на Север за длинным рублём, так что продажей занимался дальний родственник. Когда отперли избу, свет, вбежавший вместе с нами в сени, осветил средневековое жилище русского крестьянина, оставившего соху и пересевшего в лодку. Люди сгнули, а запахи остались. Они как бы соснули, но стоило только приподнять стёганое одеяло, отсыревшее за зиму, как тут же просыпались. Я понял, почему Пушкин, заглянув из любопытства в русскую избу, потом пускал коня галопом по полям – он проветривался!

Я скрипел половицами и трогал пыльные вещи. Пахла сладким кагором иконка, писанная на стекле и нехитро украшенная фольгой. Бабушка её тут же выставила на улицу, чтобы кто-нибудь забрал. Из зева холодной печки кисло несло копотью, но, когда в ней затрещали берёзовые поленья, она, выдохнув по-бабьи «ах», окутала избу першистым дымком, который растёкся пластами.

Покупая пять стен с русской печкой и шесть соток запущенного сада с покосившимся забором, бабушка, не ведая того, купила сливовое небо с крупными звёздами-антоновками, стучащими по крыше, серебряный осколок реки в крапиве и еловый ветер, накатывающий внезапно из-за холма. А ещё пьяного соседа, который клянчил деньги...

Мы были здесь первые дачники. Как-то прошлись по деревне в сторону сельмага, и какие-то глуховато-бородатые старики, тыкая в нашу сторону клюками, прокричали друг другу в уши: *«Татары приехали! Оне свянину ня ядят, водку ня пьют»*.

Но бабушка быстро нашла общий язык с местными. Утром пекла эчпочмаки и, накрыв их в китайском тазике «Дружба» салфеткой, угощала артель высокомерных статных рыбаков. Они причаливали к мосткам часов в семь утра и начинали молча выпутывать из сети жабры лещей. Мелочь бросали в алюминиевые поддоны и отправляли в магазин на реализацию, то, что покрупнее уходило налево. Ну а отдельные экземпляры, достойные краеведческого музея или ресторана речных деликатесов, оказывались на полу нашей дачи. Красавцы-лещи, отливая кольчугой, скользили в сенах от стенки к стенке, забивая хвостами метровую щуку, завёрнутую в лопухи. Стерлядки любопытно высовывали носы из ведра. Помню, как бабушка потрошила им белые животы. Чёрная икра в золотистой плёнке быстро наполняла эмалированную кастрюльку. Сверху на неё снежком ложилась соль... Как-то огромный сом, пролежав сутки (ждали, когда уснёт), выбил нож из рук бабушки и дал ей такого леща, что она отлетела в угол. Сбегала к соседу, и тот явился, косматый, с большим топором. За работу палачу дали голову.

Потихоньку вслед за нами в деревне стали появляться и другие дачники. Угрюмые бушлаты и телогрейки потели рядом с яркими шортами и майками. Однажды, о чём потом долго судачили местные тётки, в сельмаг в одном купальнике вошла девица, но ей ничего не продали. Выгнали взашей, как полуголую из храма. Махровая деревня опешила от нашествия казанцев. Повсюду бойко застучали молотки, расцвели странные цветы и садовые культуры. Не ведали здесь до сих пор о существовании облепихи, кабачков, патиссонов, болгарских перцев и брокколи. Им и репки хватало!

Вскоре на нашем участке появился шабашник. Он разобрал баньку, которая стояла вприпык к избе, чтобы собрать её в дальнем углу за крыжовником. Затем отодрал полопавшийся шифер и прогнившие доски на крыше дома, снял тяжёлые ворота, которые просели, взял аванс и... исчез.

– Такое с ним бывает, – успокаивали знающие соседи.

И вот, натягивая на щели в крыше целлофан, я нашёл в чердачном хламе амбарную тетрадь, прошитую суровой нитью. В ней лежал забытый химический карандаш. Кто-то оставил на первой странице загадочную запись: *«17 авг. Угрим исчо пуд соли взял. Вернуть обещаю хвостами»*. Я не удержался и тоже кое-что написал. Так у меня появился дневник:

«Наконец-то мы на даче! Добирались на машине, было много вещей. Жарко. Проехали погост, где лежит наш сосед, замёрзший в крещенские морозы в собственном огороде. Ухаби-стая дорога, крапива в человеческий рост, побеленный известью магазин. Мужичок в мятом пиджачке тащит мешок с визгливым поросёнком. Кажется, всё так и было сто и двести лет назад».

Пыльный свет чердачного оконца освещал листья, вобла золотилась на проволоке, бабочка-капустница устало билась о стекло. Я точил стёклышком карандаш...

«На чердаке от прежних хозяев остался шестилитровый самовар с медалями на груди. Я почистил его крошкой красного кирпича, залил родниковой водой, растопил шишками, даже приготовил яловый сапог, но он не понадобился. Когда кончили пить чай, туляк всё ещё пел на радостях свою полузабытую самоварную песню. Глядя в его медные бока, я думал, что вот когда-то в них отражались иные лица, растворившиеся теперь, как кусочки сахара в бездонном стакане столетий. А сейчас отражаюсь я. И всех-то, даже худых, самовар щедро

изображает по-кустодиевски краснощёкими и жизнерадостными. Было очень жаль, когда его у нас украли».

Осенью, уезжая в город, я забыл амбарную тетрадь у печи. Где-то в ноябре в дом за своим инструментом залез шабашник. Видимо продрог, решил погреться. Развёл огонь в печке моим дневником, только одна страничка уцелела, отлетев в сторону, как осенний лист...

Сапоги с вином

Петька всё лето ходил в болотных сапогах. Худой, в пиджаке с пугала, он и в жару носил кепку с ворсом. Утром быстренько прошмыгнёт на консервный завод, зато вечером выходит из проходной очень важно, как гусь. За поворотом уже поджидают дружки. С Петьки стягивают ботфорты и осторожно сливают содержимое в тазик. А он сидит на упавшем заборе, щёлкая щелбанами ос на худых и белоснежных ляжках, от которых тащит винцом.

Дружки каждый раз шутили об одном и том же. Просили ноги шампунем помыть, а то, вишь, винный букет перешибает. Черпали пластмассовым ковшиком, закусывали ржаной буханкой, которую потрошили на коленках. Быстро дурели от яблочного вина, прозванное «Слезами Мичурина». А Петька не пил, у него изжога от этого кисляка начиналась. Лечился стаканом самогонки. Целый день он на заводе кочевряжился, ящички блестящим пиратским крюком подтаскивал к влажному жёлобу, по которому разносортница катилась в зев, где сверкали равнодушные ножи. Им всё равно, что покрошить на кубики: крепкую антоновку, червивую скороспелку или Петькину кепку. Внизу в сырой преисподней жёлтое пюре растекалось в прозрачных трубках по чанам. Кисляк бродил и пенился, урча от всыпаемых порций сахара. Угрюмый инженер, грек по прозвищу – *Ехал грека через реку*, бродил от чана к чану, что-то записывал огрызком карандаша, который затачивал зубами, в амбарную тетрадь. Пробовал, припадая губами к кранику, сплёвывал и незаметно набирался. К концу смены из-под земли неслась его гундосая песня из непонятных слов. Наверное, то была «Илиада»!

Трезвенники на заводе не задерживались. Вороны и те ходили, как матросы, вразвалочку, а бурые крысы лежали прямо у проходной, и контролёр татарин Мансур перед приездом директора брал фанерную лопатку для уборки снега и метал тушки за забор. Так что птицы здесь ходили, а крысы летали!

Директор был ушлый дяденька-еврей. Ходил, прикрываясь, от солнца или дождя пухлой папкой. В первый же день своего назначения он собрал рабочих и сказал, что пить яблочное вино и есть не расфасованную по банкам солянку можно сколько душе угодно, но только на территории завода. Выносить за пределы возбраняется, и это будет караться штрафом.

Сапоги-бурдюки – Петькино изобретение. Снабжал он вином не столько дружков своих, сколько девушку одну по имени Лиза. Она приезжала к своей бабке на майские и застревала здесь в объятьях ползучего хмеля до октябрьских. Частенько засыпала в огороде у Петьки с заголившимися ляжками. Но Петька не пользовался, а тихо любовался из картофельной ботвы с травинкой в зубах. Пристроится рядом и пялится на задницу, как в телевизор.

Пришла осень, но для Лизы с Петькой наступила весна. Он её поил исключительно «Советским шампанским» и кормил пряниками, окуная их в банку со сгущёнкой. В мае Лиза уже качала хныкающий свёрток. Петька хвалился: «Всё как у людей, ссытся и под себя ходит. Подрастёт, вино папке покупать будет, а может и коньяк!»

К концу лета любовь завяла. Петька принялся поколачивать Лизу – и довольно крепко. Без фонарей она уже не ходила.

В моменты трезвости Петька упивался книжками. Особенно Шукшин ему нравился. Помню, лежит он в дырявой лодке, заложив страницу стебельком, и смотрит на город, покачивающийся на горизонте. Волны лижут сахарный Кремль и маковки церквей. Увидев меня, стрельнул сигарету и сказал: «Я вот в Казани лет двадцать как не был. А чё там делать? По рюмочным ходить, а потом в лоб от какого-нибудь жлоба получить? Не, я уж лучше здесь полежу». Лодка была излюбленным местом его уединений.

Каждое лето в отпуск из города приезжал родной брат Пети, Васька. Первое же застолье заканчивалось мордобоем. Били они друг дружку красиво, напоказ соседям и дачникам. Даже не били, а убивали. Бегали с мотыгами, окучивая заливки и бока. Потом брались за лопаты

и шли в штыковую. Если вначале в воздухе висел мат-перемат, то дальнейшее кровопролитие проходило, стиснув зубы. Только «ах» и «ох» при прямых попаданиях.

Драка эта была традиционной. Ещё когда Васька входил во двор и стряхивал с мокрых плеч сумки и баулы, связанные носовым платком, он уже готовился к бою. Искося присматривал, где стоит садовый инструмент. Петька же, заключая младшего брата в объятия, невольно отмечал, как тот поправился за зиму и теперь его будет сложнее завалить. Начало драки всегда было одним и тем же. Петька вскакивал на стол петухом и, исполнив боевой танец по рассыпанной соли, носком офицерского стоптанного ботинка заезжал брату в зубы. Тётя Люся орала голосом Зыкиной: «Убивают! Памаааагите!» Гости разбежались.

В сумерках братья шли в примирительную баньку. Были слышны влажные шлепки берёзовых веников и шумные обливания ключевой водой. Дверь скрипела, выплёскивая жёлтый свет в темень зарослей, где засыпала, посвистывая усталыми птицами, старая черёмуха. Угли, вытряхнутые из самовара, шипели в ночной росе. И я подумал: «А что если это любовь у них такая? Странная, жестокая, дикая?»

На следующий год я появился в деревне на майские праздники. Начальник пристани первым сообщил, что Петька помер. В крещенские морозы, когда Волга трещит под весом призрачного ледокола, Петька вышел из проходной... Накануне он особенно крепко побил Лизу за то, что строила глазки участковому. Был день аванса. Петя повстречал у сельмага кого-то из дружков. Раздавили беленькую, потом добавил одеколон.

... Вот он пнул калитку и зарылся в пушистый тёплый сугроб. И почему с «сугробом» так хорошо рифмуется «гроб»? Лиза, отодвинув весёлую в крупный подсолнух занавеску, посмотрела на Петьку, и не вышла.

Могильщик дядя Миша, которого я повстречал у трубы родника, сказал мне:

– Вона смотри, руки у меня болят, пальцы еле шевелятся. Зимой копать воше никаких сил нету. Так мне Петька-покойник посоветовал, ты, грит, дядь Миш, зимой их не копей, а зараний, осенью, когда земля ещё пух. Ну я... это... взял и выкопал в рядок сразу девять ямок. За зиму, так и есть, одна старуха померла, семеро – молодёжь, а девятым Петька представился. Замёрз он пока ночь лежал, как Иисус – руки в стороны. Я ему и могилку-то расширил, крестом сделал. Так и закопали. Хороший парень был, хоть и дурак!

Я толкнул Петькину избитую ногами многострадальную калитку. Посмотрел на проталину с пеной от последнего сугроба. На ней уже проклюнулись жёлтые цветочки. Может, он как раз на этом месте и...

Прошёл к вдове. В захламлённых сенях с верёвками, цепями и пучками полыни, на гвоздике висели те самые болотные сапоги-бурдюки – носами в разные стороны, как будто рассорились. От них тащило кислым яблочным винцом...

Клюка Аглаи

Школьные каникулы я проводил на Волге. Рыбачил, ковырялся на грядках. Бабушка просто так поваляться не давала. Часов с шести, прошептав намаз, начинала нарочно громыхать вёдрами у распахнутого окна. Июльское солнце было с ней заодно, жгло своей лупой мне плечо. Горячие зайчики прыгали через меня и исчезали в распахнутых для просушки сундуках. Бабушка, кряхтя, поливала помидоры. Можно было услышать, как мясистые «бычьи сердца» жадно пьют воду.

Я отмыкал на воротах амбарный замок и шёл купаться. Обычно в этот час народу – никого, и я входил в воду нагишом. Но в тот день на берегу с глубокими порезами от хребтов дюралевых лодок сучали двое. Один милиционер в штанах, другой – в юбке. Увидев меня, заспанная тётенька в пилотке даже обрадовалась. Подошла, представилась следователем Огурцовой и поинтересовалась, есть ли у меня лодка. Я показал на перевёрнутый у пристани ялик. Не объяснив толком ничего, Огурцова сказала, что они с участковым сейчас пойдут по берегу, а я должен буду грести за ними. Безропотно подчинился. Весь берег завален острыми камнями, на нём корчатся седые пни-осьминоги, среди которых вьётся узкая в одну ступню тропка.

Гребу-гребу и вот вижу, как следователь, наклонившись к тёмному продолговатому предмету, подзывает меня. Оказалось, что какая-то старуха с малиновым узелком шла из одной деревни в другую и померла. Рядом валялась клюка.

Описали, как полагается, содержимое узелка: деревянный гребешок, иконка в тряпице, вышитой крестиком, а в носовом платочке денежка – скомканный николаевский бумажный рублик и медные монеты тех же лет. Прямо какая-то древнерусская старуха, выпавшая из времени!

Огурцова командует, чтобы милиционер взял покойницу за подмышки, а я – за ноги. Нагнулся, но взять не могу. Руки отказываются. Огурцова отстранила меня и сама ухватилась за синие лодыжки. Уложили старуху на мокрое дно лодки с раздувшимися червями, оставшимися после вечерней рыбалки, и я погрёб обратно.

Стараюсь не смотреть на белое пятно лица, но оно покачивается у самых моих ног, приближаясь от резких гребков ко мне ближе и ближе. Брызги из-под весла орошают мёртвые щёки. Это слёзы текут. И вдруг я с ужасом замечаю, что старуха смотрит на меня! Боже, никогда ещё я не грёб с такой прытью. Лодка летела через Стикс. Но мозоль жжёт, весло соскальзывает. Огурцова идёт по берегу и бросает на меня презрительные взгляды. Сузившиеся зрачки старухи пытаются: кто я? куда везу? Я – Харон. Шлейф брызг накрывает меня сверху. Истекаю, отфыркиваясь, как щенок. Огибая мель, выправляю по чёрному бакену лодку и несусь к фарватеру. Надо было по красному! Кручусь на месте. Огурцова, кажется, крутит у виска. Слышу, как на грузовике с лязганьем откидывают борт. Наконец мятый нос уткнулся в берег, старуха летит на меня, я вываливаюсь из лодки на кишки и чешую. Рыбья кость впивается в задницу.

Мужики легко, как высохшее на солнце брёвнышко, поднимают старушку. Один подмигнул мне: «Не приставала?»

Затаскиваю лодку, сажаю на цепь. Переворачиваю, и вдруг из неё выкатывается мокрая клюка. Кора орешника покраснела. Коленце сучка совсем отполировалось ладонью. Верчу её в руке, намереваясь метнуть в воду, и тут вижу аккуратно вырезанный крест, а под ним буквы: «Раба божья сестра Аглая Мокея дочь из Теньков. Ходи до смерти!» Хочу догнать следователя, но узик, газанув, исчезает за поворотом, закрывшись от меня шторкой пыли. Бреду домой. Втыкаю клюку у забора за большим смородинным кустом. Прячу, она же с крестом!

Бабушка сдёргивает салфетку с солнечных блинчиков, ловко зашибает ладонью объевшуюся мёдом осу и уходит к своим помидорам. Я накрыл блинчики и взял мотыгу.

– Где ты был так долго? – не разгибая спины, спрашивает она.

– Купался, – вру.

– Срежешь мне палку, а то нога болит, ходить не могу.

Вырезаю из вишни, даже украшаю: виноградная лоза вьётся вверх и по палке русалки ползают, как улитки, но в лифчиках. Правда, всё это вышло мелко, и бабушка не может разглядеть. А припрятанная клюка Аглаи через две недели вдруг выстрелила листочком. Потом две веточки проклюнулись из мёртвой палки. Через год это было уже деревце со слезящимися письменами на красной коре: «Ходи до смерти!»

Утёс отшельника

На этот скворечник, прилепившийся к утёсу, я давно положил глаз. Добротню сколоченный из того, что река весной выносит на берег с мусором, он был виден лишь в начале апреля, а затем исчезал на всё лето в густой листве, растущей вниз. Не один я любовался им. Мужики, попыхивая папиросками, глядели на домик, прилепившийся к утёсу с какой-то грустинкой, которая была вызвана давней несбыточной мечтой. От Казани, прикладываясь к горлышку и матюгаясь, они в этом месте сразу притихали и уходили в себя. Кто его сделал? Кто там живёт? От кого прячется?

Омик с лёгким креном, из-за высыпавших на правый борт пассажиров, шелестел вдоль берега, аккуратно разрезая акварель с пушистыми ивами. Пять минут красоты, и вот уже снова надо ползти к своим дачам, где гадюками извиваются шланги и помидоры, наливаясь кровью, тяжелеют на кусте. А настырный хрен проклюнулся даже под крыльцом, выбив ступеньку, как зуб!

Однажды, в самый разгар весенней посадки семян и рассады, моя бабушка разогнула спину и увидела знакомую, которая шла належке с пристани.

– Марьям, салам!¹² – окликнула. – Ты чего, уже всё посадила, да?

– А я в этом году ничего сажать не буду! – огорошила та и обмахнулась веером-книжкой.

– Болеешь?..

– Не-а, просто не хочу! – был ответ.

– Абау, – только и смогла произнести моя бабушка, что означало высшую степень удивления. Но я смотрел на уходящую в сизую дымку Марьям с восхищением! Вся деревня стоит раком, а она идёт, порхая, с книжкой под мышкой.

... Чтобы добраться до скворечника, надо было вскарабкаться на скользкие валуны, скатившиеся лет пятьсот назад к Волге, потом, цепляясь за корни диких вишен и разные колючки, пройти козьей тропкой по выступу. После поднырнуть под кривые татарские берёзки и там, передвигаясь на четвереньках в качающемся от ветра коридоре, выйти на первую террасу и ослепнуть. Вид отсюда был обалденный!

Эх, надо было снять перед Волгой-матушкой шапку и поздороваться, а я забыл, и тогда мою парусиновую кепку сорвало с головы, и она вмиг превратилась в летящую вдаль точку. Впереди ещё две террасы, но я их уже не взял. Подошвы штиблет соскальзывали, камушки, собираясь в струйки, текли по морщинам утёса и падали в серебро.

Летом у этих валунов, похожих на гигантские шампиньоны, я частенько замечал с палубы седого старика в выцветшей гимнастёрке. На нём была панاما с бахромой, какую носил Утёсов в фильме «Весёлые ребята». Он сматывал удилица и уходил куда-то наверх. Я понял, что это и есть тот самый таинственный «скворец». И вот как-то, опоздав на свой омик, я сел на последний, который шёл ночевать в Верхний Услон. Оттуда до моей станции только один путь – по берегу. По камням, перелезая через сказочные пни, будет часа два не меньше. Быстро темнело. Через час на дороге вырос огромный гриб, он зашевелился. Спичка, вспыхнувшая под шляпкой, осветила красное лицо, и я узнал седого старика. Он уже собрал манатки, в тяжёлом кукане хлестали по щекам злобную шуку жизнерадостные подлещики, невидимая банка из-под червей гремела под ногами.

– Ого, – присвистнул он, когда узнал, откуда держу путь. – Закуривай, марафонец! – старик достал латунный портсигар с профилем Пушкина на крышке.

¹² Сэлам (*татар.*) – привет.

В сумке у меня булькнуло. Эту бутылку коньяка я вёз бабушке поднимать давление. Не довёз. Приземлились на ещё тёплый камушек. Старика, которому было всего-то, наверное, пятьдесят, звали дядей Мишей. Мы приняли из горлышка за знакомство.

– Как же туда забираешься? – кивнул я на утёс.

– У меня, парень, верёвочная лесенка от самого крыльца к воде спущена. Вон, конец болтается... – выдал секрет дядя Миша и, защёлкнув портсигар, постучал им по ноге. Раздался деревянный стук. – Культя! – радостно сообщил он. – Винтами отсекло, когда Волгу на спор переплывал.

Но лазил он как обезьяна на одних только руках! Я же все ладони и коленки изодрал... И вот сижу на его крыльце и болтаю ногами, как пьяный ангел в ночи. Один штиблет так и улетел. Долго ждал, когда внизу раздастся шлепок.

Звёзды исцарапали всё небо. Штопорный ветерок приподнимал моё тело, и уже казалось, что я лечу над чёрной рекой с медленными огоньками пароходов. Волосы шевелились от страха и восторга. Я вцепился в рукав дяди Миши.

– Не бойсь, малец, я отсюда три раза падал! По пьяни, конечно. Но не долетал. За коряги цеплялся. А потом, просто надо умеючи падать. Смотри!.. – Он накрыл голову пиджаком и присел, готовясь к показательному прыжку. Но отчего-то передумал и принялся лихо выбивать чечётку, крутясь на культе, как на циркуле. Крыльцо ходило ходуном, а единственная свечка на тарелке, проскакав по фанерному столику, спрыгнула в пропасть.

– Там, за крыжовником, яма. Всё уходит туда без возврата! – махнул ей вслед дядя Миша. Натанцевавшись, присел рядом. – Чё, улетела тапка-то? – хохотнул и отпустил на волю пустую бутылку. – А какие тут воздуха парят, чуешь?! А завихрения?

И дядя Миша надул грудь и запел басом:

Прощай, радость, жизнь моя!
Слышу, едешь без меня.
Знать, должен с тобой расстаться,
Тебя мне больше не видать...

Волга замерла, прислушавшись, и точно в нужное место вставил в песню свой гудок невидимый пароход.

Дядя Миша достал измятый свадебный снимок у Вечного огня – всё, что осталось от прошлой жизни, и начал рассказывать про себя. В семнадцать лет, отпечатав стишки на машинке, отправился в Литинститут. Пришёл на экзамен хмельной, так как всю ночь гужбанил с одним московским мэтром («Вольшанский! Слышал про такого?»). Завалил, потом год шатался по столице, подрабатывая в овощных отделах грузчиком. Вернулся в Казань, поступил на филфак. После первого курса исключили за прогулы, забрили в армию. Там замполит нашёл в его тумбочке трактат о возможности соединения коммунизма с анархизмом. Положили в психушку, а через три месяца комиссовали. Вернули матери. Каждый день она ему выедала мозг...

Чтобы убежать от неё, женился на первой встречной с квартирой, но через месяц понял, что сбежал из одной тюрьмы в другую. Долго обдумывал план побега. Однажды на пикнике, когда жена с тещей и тестем пошли накрывать поляну («Три толстяка!»), оставил ботинки и одежду на песочке, а сам, перемахнув через залив, запрыгнул в лодку, которая волочилась на канате за гружёной баржой. Хотел уйти в Астрахань, а может и на Каспий, но, когда баржа шла этими пугачёвскими местами, понял, что волю и глухомань можно и неподалёку найти – под самым носом у Казани!

Я слушал его, трезвея, и вдруг меня осенило. Я понял, что это он про меня рассказывает! Узкими азиатскими глазами душу мою разглядывает, ковыряет чёрным ногтем, выуживает из

меня ржавым крючком и мне же самому мою жизнь излагает. Ловко придумал, сволочь! Но ведь я об этом только мечтал втайне, ярко во всех подробностях представляя, а он – сделал!

Я вцепился в перила крыльца, летящего с посвистом, как капитанский мостик каравеллы над ночным морем. Звезда рассыпалась окурком у моих ботфорт. Поскользнувшись на медузе, я полетел на грязный матрас с голубой блевотиной. Отстёгнутая культя весело, как обезьянка, запрыгала по палубе. А дядя Миша хохотал на мачте, влезая в петлю своего одиночества, которое он обрёл на утёсе, обманув судьбу-злодейку.

Шабашник Надир

Он всю жизнь что-нибудь строил. То одну дачу, то другую. Всё кому-то помогал из родни забесплатно, бывало, что и шабашил, но полученные бабки оставлял тут же, не отходя от кассы. И тогда за строительным вагончиком быстро вырастала стеклянная горка тары.

Надир сладко пил горькую. Мог в одиночку выдуть две полулитры за вечер без закуски. Выставив вперёд хроющую ногу, как пират культу, он ронял кудрявую голову на верстак, где цыганские кудряшки сразу же начинали дружить с белоснежными стружками, складывал трубочкой губы и начинал сладко посвистывать. Рука с набухшими венами подрагивала, во сне она оживала сама по себе и хваталась то за молоток, то за топор, но тут же роняла. Успокаивалась, только когда находила бутылку. Значит, всё хорошо, значит, в мире полный порядок.

Утром, морщась от блевотного запаха самогона, которым провоняли все чашки с отбитыми ушками, он глотал крепкий чай сразу из двух пакетиков, после чего выходил на стройплощадку и начинал цепляться к своим напарникам, которых ещё только вчера хвалил. Через полчаса придирок командовал: «Переделать всё к ёпрной матери! Косо и криво. Кто ж так строит? Вы ж меня, сволочи, позорите!»

Потом из города приезжал хозяин, привозил водки, сигарет и умолял Надира оставить всё как есть. Наливал ему граммов сто. Щёлкал услужливо зажигалкой. Уважительно называл «бригадиром». Надир тряс упрямыми кудряшками, шевелил ноздрями, громко вдыхал пары водки и немного добрел. Наконец соглашался: «Ладно, чёрт с тобой. Только ты никому не говори, что эту дачу я тебе строил!» «Не вопрос!» – соглашался тот и наливал ещё. Джим хозяина хрустел обледенелой травой, пустая бутылка летела к подружкам. Из угла испуганно, как кутята, тарацились две целенькие и грели шабашнику душу. Он любил потянуть волюнку. Пусть стоят себе час и два, даже до ужина. Приятно вожделеть, испытывая на себе слезящиеся от похмелья глаза напарников. Зато потом... Кривые улыбочки, гы-гы, добрая матерщина, кислый табачный дымок сединой вползает в нечёсанные шевелюры.

Лампочка мутнела, холодком тянуло в двери. Снаружи скулил абрикосовый пуделёк, забытый дачниками, который уже грыз с голодухи жёлтые огурцы. Аванс таял, росла бутылочная горка. Потом пропили японский инструмент. Внезапно нагрязнул хозяин, но водки уже не привёз...

Надир был полугородской. В деревне не зимовал. Глубокой осенью, пропахший костром и мышами, возвращался в город к сожительнице и там дожидался весны. Каждую зиму делал ей ремонт. Без этого не мог. Задышался без запаха краски. И, наконец, в апреле на первом омике, ломающем вафельный ледок, торжественно прибывал на дачу. Обходил, прихрамывая, соседние участки с плешками снега. Навещал знакомых.

Надир хромал с детства, говорит, прыгнул на спор с пристани, а внизу бревно проплывало. Теперь в его стоптанном ботинке всегда лежала отполированная деревянная пятка. Таких пяткок у него было несколько: парадная из груши – к кому-нибудь на свадьбу или юбилей, вырезанная из пенопласта – для пляжа. Была даже облегчённая из сосновой баклажки для высотных работ, эта прикручивалась шурупами к каблуку.

Любое строительство, которое он затевал, будь то двухэтажная дача с мансардой или банька, замышлялось им грандиозно, как Колизей. Он чертил на обрывках обоев план строения, доказывал заказчику, что надо заранее забабакать фундамент под будущую капитальную веранду, а балкон превратить в отдельную утеплённую комнату. Мало ли! Внуки пойдут, родня приедет... Таких поправок было множество, в результате небольшая фанерная дача превращалась на бумажке в загородный дворец, а баня – в Сандуны! И в первые две недели работа кипела. Надир, восседая на ящике с гвоздями и разглаживая на коленке утверждённый план,

командовал шабашниками. Но удивительным образом почему-то всё сразу шло наперекосяк. Вскоре начинали переделывать, а потом спешно исправлять переделанное...

В прошлое лето я привёз к нему нового заказчика. Это был главный бухгалтер журнала, который хотел построить скромную дачу на зелёном холме вблизи деревни Студенцы. Надир на куске обоев нарисовал ему проект коттеджа с тёплым сортиром, подземным гаражом, погребом, винтовой лестницей на второй этаж и смотровой площадкой над мансардой. На широкой лоджии, опоясавшей фазенду, можно было бегать трусцой, а на полукруглом балконе с роскошным видом на волжские просторы – пить чай из самовара. Проект очень понравился главному. Через пару дней тот пригнал на участок тёплый вагончик, троих узбеков, куль риса, мешков десять цемента для начала, а Надиру выдал аванс, завернутый копчёным лещом в газетку. И пошло-поехало...

Наняв себе в помощники соседа, Надир сказал ему: «Дача эта будет, ох, высокой. Почти что три этажа на бугорке! Без лесенки никак. Айда, сначала сделаем лесенку». Надир выбрал самые длинные брусья, шагами отмерил по земле высоту будущей лестницы. Включил циркулярную пилу, и ему в лицо забил фонтанчик золотистых опилок. Мутная капля пота набухла на кончике носа. Лестница постепенно вытягивалась двумя белыми линиями на тёмной зелени сада. Врезные ступени с железными уголками обстоятельно, не спеша, делали две недели. Затем лестницу шкурили и три раза лакировали. Ну потом ещё недельку обмывали...

И вот как-то чистым молочным утром Надир растолкал соседа, и они вышли в притихший сад. В конце аллеи сонно плескалась вода и поскрипывала пристань. Лестница – ликовала! Они обвязали её верёвками, ухватились дружно, потянули и... Ещё раз ухватились, расставив ноги, потянули и... Вены на шеях вздулись, ноги по щиколотку вошли во влажные грядки, но... Она, собака, даже не шелохнулась, только задрожала на брусьях крупная роса.

– Да, – удивился Надир. – Вот это я понимаю, – капитальная лесенка!

Она была настоящим произведением лестничного искусства. Блестела жемчугами на рассвете, отливала на солнце лаком, нежно оплеталась вьюном, и постепенно, как поваленная древнегреческая колонна, становилась частью природы.

Я открутил проволоку, которая символизировала калитку. Вошёл. С тех пор как Надир разобрал на нашем участке баньку и крышу, прошёл уже целый год. Я приехал разузнать, когда же...

Он лежал, крепко обхватив лестницу, как будто бы карабкался куда-то вверх – в небо. Ботинок с пяткой слетел в траву. В бутылке с яблочным вином брюзжал шмель. И добудиться Надира было невозможно...

Мубарак из деревни Каляпуш

У всех были добротные ворота и калитки, а у него – голубая дверца от «Москвича». Сначала надо было отодвинуть коленом вислоухие лопухи, похожие на слоновьи уши, затем раздвинуть малину и прижать дверцей ржавую крапиву и тогда уж пробежать к крыльцу, поскальзываясь на скороспелках-гнилушках. Бежать следовало быстро, потому что навстречу тебе гремела цепь волкодава. Нет, волкодав был первейший добряк, однако любил поиграть своими какашками, а потом положить огромные мокрые лапы тебе на плечи и скулящими глазами спросить: «Ну, как дела, чувачок?»

Но больше всего в тот день я переживал за тёмные прыткие бутылки, готовые выскользнуть пингвинами из потных ладоней. Как бы не кокнуть!

Тем летом всю страну иссушил, испепелил сухой закон, а здесь, в покосившейся избушке сельпо татарской деревни Каляпуш, вдруг выбросили настоящее розовое шампанское «Мадам Помпадур». Восточная сказка! Я их девять, мадамов, и купил. Ещё снулый от жары батон бумажной колбасы, банку килек, кулёк пряников – на всю стипу. В Казани это шампанское смели бы махом, а здесь оно грелось, пронзённое зайчиками, выпрыгивающими из чёрного ведра уборщицы. Низкорослый кривоногий народец с буханками оборачивался на меня, единственного покупателя этой дорогой и никому ненужной ерунды.

С июльского жара (даже яблоки на ветвях висели запечённые) нырнуть под козырёк крыльца в прохладную норку было одно удовольствие. Рубашка потихоньку отлипала от спины, джинсы, как самоварные трубы, остывали, носки мокрыми мышами уползали в угол. Красота!

Пьём исключительно из старинных бордовых бокалов не ради эстетства, просто прощальная гастроль Мубарака на земле предполагает роскошество.

На медном подносе появляется несуразная в данном случае горка редиски, коготки молодого чеснока, ломти колбасы и стеклянная чернильница, превращённая в солонку. Не забыл хозяин и про своё лакомство дембеля – пряники, которые он макал прямо в банку с килькой в томате. Вкуснотища!

Мубарак сворачивает одной «Помпадур» голову. Та шипит на него злобно. Что-то покрепче пить ему не разрешалось. У него – белокровие. Из пробок от выпитого за июнь «Салюта» он уже смастерил оригинальное жалюзи и повесил над дверью. Приятно, входя, погременуть. Прямо как будто в старый кабачок «13 стульев» входишь: «А вот и я, пани Моника. Здравсьте!»

Главное, не покатиться на пустых бутылках, которые озвучивали ксилофоном каждый твой шаг. Попискивающий пол был весь с буграми, оттого что поблизости росла двухсотлетняя ива и своими корнями-осьминогами приподнимала лаги. В неглубоком погребке под кухонькой пушистые щупальца лезли во все щели за трёхлитровыми банками домашних солений. Там же в сырой нише в обрамлении новогодней мишуры стояла католическая Мадонна, грубовато вырезанная из деревянной баклажки. Мубарак спускался к ней по вечерам, зажигал толстые огарки и минут пять стоял на коленях. Потом вытаскивал из-за Мадонны бутылку с полынным чаем и «чистил кровь».

Наверху в спальне у изголовья лежал в истёртом кожухе бабушкин Коран, и повсюду, даже в бане, были развешаны шамаили с мечетями, вырезанными из фольги от шоколадок, и ползущими гусеницами изречений из Корана. В буфете сидел фарфоровый пёсик, которого Мубарак называл «Святым Христофором» и подкладывал под него денежку. Обязательно должна быть новенькая. Молился он своим богам нагишом. Объяснял, что перед силами небесными человек должен стоять в чём мать родила. Соседи смотрели на Мубарака с ухмылочкой. Не общались, на свадьбы не приглашали. Не позвал и родной сын. Забор, которым он отгородился от отца, был глухой. Мубарак только по голосам понял, что стал дедушкой...

Интересно, как он к внуку свою любовь проявлял. Проходя мимо, как бы невзначай, перебрасывал на «вражескую территорию» золотой ранет, который плодоносил только у него медовыми райскими яблоками.

В воскресные дни, помолвившись, Мубарак облачался в тёмно-вишнёвый халат с зелёным пояском, натягивал узкие сафьяновые ичиги, нахлобучивал малиновую феску с кисточкой и не спеша, ханской походкой, направлялся в гараж. Внутри в бензиновом сладком облачке стоял одинокий экспонат – мопед «Riga 11». Мубарак сдёргивал попону – красный прикроватный коврик – и несколько минут любовался техникой, что-то подкручивая, подтягивая, где-то подтирая салфеткой. Мопед был как будто бы целиком отлит из золота. После покупки Мубарак разобрал его и возил по частям на Казанский вертолётный завод к приятелю, который работал в гальваническом цехе. Тот хромировал детали и покрывал золотой эмульсией. Собрав мопед обратно, Мубарак начал его украшать, как туземного вождя. К каждой ручке прикрепил по пять зеркал заднего вида и повесил два лисьих хвоста от воротника маминой шубы. Седло обшил каракулем. Сзади на шесте закрепил новогоднюю звезду и обмотал багажник гирляндой. На крылья наклеил крупные алмазы. Сбоку у бензобака повесил транзисторный приёмник «Турист». Индюшиные перья распустил веером над фарой.

Подняв пыльную завесу в деревне, Мубарак устремлялся в Казань. Как-то он взял меня с собой, и я стал свидетелем, как советских граждан, облачённых во всё серое, неброское, хватал на улицах столбняк. Они разглядывали мопед и светлели лицом. Мубарака узнавали и махали ему с тротуаров, как Гагарину.

В конце августа я уезжал с филфаком на картошку. На прощанье мы распили с ним последнюю «Помпадур», а когда я вернулся, он уже лежал на мазарках¹³. Быстро сгорел! Никому не нужный добрый волкодав играл у сельпо своими какашками. Я купил ему пряников, колбаса кончилась, а себе на талон – бутылку «Имбирной». Покрутившись возле дома Мубарака, притулился на какой-то трубе и помянул...

Уходя, всё же не удержался и заглянул в сад. Под яблоней была свалена в кучу старая мебель, на тахте лежала Мадонна, треснутое зеркало разрезало мокрый сад напополам. По земле были разбросаны книжки и виниловые пластинки. Окна – нараспашку. Во дворе сын Мубарака сосредоточенно обдирал с золотого мотоцикла лисьи хвосты...

¹³ Мазарки (*татар.*) – кладбище.

Умирили сверчки...

Рауф забрался на холм и упал в ржавую траву, взъерошенную волжским ветродуем. Старый почерневший кузнечик вылез на мостик стебля, сложил лапки, чтобы помолиться, но не успел – окочурился. Откуда-то из спутанных извилин выскочили стишки, которыми Рауф баловался в юности.

Умирили сверчки от холодной росы,
пчёлы сыпались в тёмный шиповник.
Собирал помидоры садовник,
в горьком дыме желтели усы.

Тощих тетрадок с кривыми столбцами было всего две. Одну автор подарил первой жене – Мадине, вторую измусолил и потерял баянист Фаннур, пока перекладывал строчки на свой «фирменный» мотив, который всегда заканчивался убегающими по кнопочкам пальцами: «прыбабаба-па».

Рауфу нравилось, что человек искренне старается, переживает, чуть ли не рыдает над его «сверсками». Этот романс был хитом на деревенских свадьбах. Невесты слёзки роняли в оливье и целовали Фаннура под косые взгляды пьяных женихов. Потом он повторил судьбу сверчка – заснул, нырнув в дырявый шалаш бродяги с матрацем из первого снега. Это произошло за придорожным кафе, где гуляли. Утром он был как мрамор, с белыми пальцами, притопившими кнопочки клюквы, проросшей в шалаш. Баян в руках участкового, хрустнув ледком, спаявшим меха, выдал вступление к «Сверчкам», и в остекленевшем воздухе пробежала трещинка грусти с запашком вчерашней водки. А берёза поблизости с обледеневшими листочками аж вздрогнула, как сервант с рюмками во время драки. Прощай, Фаннур!..

Внизу от пристани отчалила пустая мошка. Рейсы в будни сильно сократили, дачники с октября ездили только по выходным. У окна сидела женщина в голубином платке. Она внимательно посмотрела на Рауфа и вдруг помахала ему. Он выдернул толстый стебель полыни с корнем и вдавил сношенные каблуки в землю, осыпав вниз камушки. Это же Машка! Её платок, её движения. Мошка, отфыркиваясь, затопала на фарватер. Все пальцы были перепачканы кладбищенской рыжей глиной. Закопал он свою Машу и полез на холм, где они любили сидеть, поглядывая на скользящие по стеклу игрушечные пароходы.

Фазенда их стояла у самой пристани. С высоты холма она была как на ладони: рубероид лоснился от дождя, забор упал, и по нему дачники ходили как по мосткам, а на его месте вымахали лопухи. Кривая яблоня, выросшая у самой калитки, как старушка, выглядывала на дорогу. Райские яблочки прыгали к пристани, торопились на рейс. Маша, должно быть, сунула парочку озябших себе в карман плаща.

В касе молотком гробовщика стучала равнодушная печать...

Некрашенная будка уборной закачалась. В неё влезла непомерная теща и там разворачивалась. Родственники суетились во дворе, все в тёмном, как налетевшие вороны. В избе накрывали поминальный стол. Включили днём люстру, распахнули окно. Вон Санёк на полусогнутых, звеня коленками, бережно втащил две спортивные сумки, полные водки. Рауф тихонечко сползал с холма. Задница вся намочла. О том, что увидел Машу в окне мошки, он, конечно, никому не скажет. Померещилось!..

Все уже сидели и жевали. Он появился в дверях, как на сцене сельского клуба, и собрал сочувствующие взгляды. Двоюродная сестра жены Лидия посмотрела на него оценивающе, как будто ношеное пальто покойницы примеряла. Подвинулись, усадили. Подали кастрюлю с картошкой в мундире. Лида своими пальчиками положила ему в тарелку распухшую сардельку.

Санёк, ответственный за водку, налил до краёв. Родня смолкла и усталилась на Рауфа. Знала, что завязал, и теперь желала видеть, как развяжет. Рауф послушно потянул пальцы к стакану. Движение, ставшее за десять лет трезвости непривычным. Холод водки входил в организм через пальцы. Бросил взгляд в окошко. Мошка на фарватере превратилась в «парус одинокий», Маша с палубы погрозила ему кулачком. Эхма...

Все вокруг бухали по-белому и по-чёрному, только они вдвоём, как старообрядцы, завели себе самовар, который Рауф привёз из родного аула Пшенгер Арского района как память о маме. Получается, земляк.

Пучки чайных трав висели на гвёздиках в сенях, источая успокаивающие волны летних полянок и косогулов вблизи деревни с ласковым названием Улиткино. Древние волжане были поэтами, красивые имена давали своим поселениям: Нижний Услон, Ключищи, Теньки, Шеланга, Ташёвка...

Рауф сделал вид, что выпил, даже произвел два громких холостых глотка и задвинул за коробку сока полный стакан. Лишь пальцы омочил. Демонстративно пожевал резиновый грибочек, и за столом спокойно вздохнули – «ну, слава те, Госпади!»

Маша была другой, непохожей на свою родню. Мягче, что ли, лиричнее. Не орала, только плакала. Иногда он готовил какую-нибудь татарскую еду. То, что умел. Например, куриный суп с лапшой, которую крошил квадратиками, потому что паутинкой не получалось. За столом Рауф говорил жене: «Маша, ашá!», то есть «кушай».

Он тихонько вышел во двор. За вишнями, отрясая спиной капельки дождя с веток, растопил самовар. За нарубленными дощечками в сарай идти не хотелось. Там дымили мужики. Поломал о колено помидорные шесты, содрал со старой вишни шкуру. И самовар начал оживать: ныть, охать и затягивать степную песню. Ну чем не живое существо?! Над ним набрякшее небо посветлело, расступилось кружком. Рауф, чувствуя коленями тепло, слушал самоварный плач, и вдруг лицо его сморщилось мочёным яблоком, суксилось, и брызнули слёзы. Соль зашипела на самоварной крышке, и тогда на надраенной латуни отразились двое.

– Рауф, не раскисай. Ты же мужик! Я тебя буду навещать, – пообещала Маша прокуреным голосом Лиды.

Самовар затрясло, и он откинул трубу – шипеть чёрным питоном в мокрой траве. Посыпал дождь, старый и безрадостный. Блёклая капуста до последнего держалась лапками за ветку, но точной горошиной дождя была сбита на землю. Лидия за рукав телогрейки потащила вдовца в дом, где хозяйничали чужие люди.

За печкой в тишине распределяли Машины вещи, выдергивая их из вороха. Случайно присвоили свитер и новое трико Рауфа. Пахло столовкой и носками. Сквозняк бил по ногам. Рауф под видом водки глушил минералку. Но как будто бы опьянел даже. Ночью закопался под два одеяла, носом, как ёж, отыскал запах Маши. Почудилось, что подушка ещё тёплая, как будто бы жена встала посреди ночи и зашуршала, полупрозрачная, в холодные сени. Гладил вмятину. Сон прошёл. Рауф, прикрыв веки, начал смотреть кино про свою жизнь, которое для него одного крутил пьяный «сапожник». Плёнка рвалась, шла по простыне сикось-накось, чёрно-белая с рябью, но местами вдруг вспыхивала и становилась цветной. Вот они собрались с бухты-барахты и поехали с Машей в Вардане.

– И куды поперлись?! – кудахтала тёща. – Ну, прям кино «Печки-лавочки»! Волна сразу же сдёрнула с Рауфа китайские трусы, а он этого и не заметил. Вышел на берег, как татарский Адам. Потом они со стыда пляж поменяли. Большие пушистые персики запомнил, как она ими, захлёбываясь, упивалась. Красивые косточки аккуратно складывала на подоконнике. Там он не пил, только домашний кисляк из баллона потягивал. А это не считается. Но дома сорвался. В кадре – стол с объедками, по которому бутылка катится, а под ним продрогший мужик кутается в скатёрку. Потом в избе появилась тихая иконка «Неупиваемая чаша». Запах лаванды по утрам туманом висел, и губы Маши шептали:

– О милосердная Владычица! Молитвы моей не презри, но услыши тяжким недугом пианства одержимых...

Десять лет – это срок. Чаша высохла, растрескалась, чуть сама не рассыпалась, и в ней паук издох – тот самый, который «зелёному змию товарищ».

Затем запрыгали кадры про прежнюю жизнь – до Маши. Казань, белые рубашки. Не воздух, одеколон! Веер брызг из поливальной машины. Водила – монгол в мохеровой кепке, промазал по клумбе, зато дал струю по тюльпанам в ведрах, заодно и по старушкам. Те завизжали, как девочки. Капельки прилипли к экрану, и тут же их смахнул подол платья. Студентка, похожая на Варлей, выпрыгнула прямо из вазона в голубом плиссированном колокольчике. Белыми ножками, ловко перебирая по ступенькам лестницы, взбежала к университету. Помахала ему сверху. Если чуток отмотать назад, то... Вот за поворотом они стукнулись лбами.

– Чё ты бодаешься, олень? – Она стояла красивая, с красной лампочкой на лбу. Он ей соврал, что в универе химики разлили ртуть и все занятия отменили. Пригласил в новую пиццерию на углу Ленинского сада. Там, в кафе, они опять приложились, но уже губами. Вкус у Мадины был – «кофе с молоком». И он тоже тогда пил кофе.

Когда сын пошёл в третий класс, они, поднакопив денег, впервые поехали к югу – в Вардане. Зачем-то и Машу он потом туда же повёз! Даже отыскал ту самую харчевню, где аджичным огнём пылала его глотка, которую повар Сурен пытался залить прохладной «Изабеллой». Сурен умер, харчо стал жидковат, а вино зауксусилось. Гуляя, завёл Машу на окраину, где когда-то снимал скворечник с первой женой. Сунул голову за ограду – в «их» окошке торчала заплаканная мордочка ужаленной солнцем девочки.

Поначалу первая жена Мадина пыталась и во сне вытеснить Машу, она к нему даже с Маратиком приходила. Смотрела с укором, и тогда он не выдерживал и убегал из сна. Лежал на спине и разглядывал, как стучаются лунные черепа на потолке.

Сынок ему всегда вспоминался маленьким. Как тот на первой их съёмной квартире осторожно по стеночке ходил, как в окошко кулачком стучал, провожая папу на работу, как от медсестры со шприцем прятался в шифоньере и оттуда верещал жалобным голоском: «Малат усол, тётенька. Погулять!», как обкакался на столе на важные папины бумаги...

Рауф дивился способности головы неожиданно доставать и выбрасывать наверх откуда-то из неясных глубин клочки, казалось бы, давно уже омертвевших дней. И тогда колючка, обрызганная дождём, вспыхивала жёванным цветком, который, расправляя оборки, заполнял весь мозг. Рауф вдруг унюхал влажную от слюнок рубашечку сына, почувствовал его любопытные пальчики у себя во рту, услышал «гр-р-р» из алого беззубого рта и даже руки развёл, чтобы обнять сына. Такая любовь в нём забушевала!

...А ночью Рауф плакал. Всё во сне было правдоподобно. Обнимашки, сопельки... Не удержался и посреди ночи принялся писать письмо сыну на старый казанский адрес. Через месяц пришёл ответ. Из Москвы! Оказалось, сын женился на москвичке, и Рауф давно уже стал дедушкой. Письмо ему переправила бывшая жена Мадина. Она жила в Казани с дочерью от второго брака.

Договорились, что когда сын в июне приедет к матери, то заедет к отцу – внучку показать. Рауф даже начертил ему схему, где продаются билеты в речпорту до деревни Улиткино, нарисовал Волгу и пароходик на ней – как он будет красиво плыть, огибая острова. А на палубе он изобразил двух человечков. Старался, конечно, для внучки.

...Поставил стол в саду в тени под старыми вишнями, бросил красный ковёр на сорную траву. Этот ковёр Маша берегла – ругалась, когда по нему ходили. Порхатъ заставляла! С книжки снял сбережения. С большим трудом в свином царстве раздобыл барашка. Агроном-татарин выручил – заказал за триста кэмэ за тысячу рэ пять кэгэ своим родственникам. Деликатесов всяких Рауфу доставил спецрейсом знакомый капитан по фамилии Черномор на плавмагазине: икорки красной, крабов консервированных, буженины, сервелата,

пахучих сыров... – всего того, чего в местный сельмаг не завозили. И самое главное, вискарь ирландский привёз – прямоугольную пятилитровую бутылку. Черномор вцепился в неё, накрыл кудряшками бороды и отдавать не хотел. Тельняшкой рваной театрально обтирал, целовал, причмокивая. Рауф сжалился, свернул башку ирландцу. Отлил полкружки. Липкое облачко заморского алкоголя повисло над ними, пока его не спихнул с палубы волжский бриз.

– За встречу с сыном! Ну, айда... Вуй какуй она вкусный! – закачался, прикрыв красные зенки, капитан.

Потом плавмагазин отлип от пирса, заложил крен, и Черномор заорал песню. Пока Рауф затаскивал сумки, вискарная тучка над ним всё висела и капала. И вдруг хлоп – накрыла медузой. Еле отфыркался. Чтоб перевести дух, прилёг на жерди, и тут его ноздри, как рюмочки, до краёв наполнились сладким бухлом. Выдавило слёзы, язык прошуршал по губе. Он отщипнул от смородины соцветие, пожевал. Так Рауф всегда делал, когда пил от Маши тайком и нечем было закусить. Но спирт хорошо перешибал только зелёный лучок. Вспомнил, где делал схроны: в трубе, подпирающей уборную, в самоварном сапоге, даже на яблоню за шнурок подвешивал. Но у Маши была фантастическая способность отыскивать предметы. Она специализировалась по водке. С закрытыми глазами руку протянет и... буль-буль – в сорняк. Его прятки с питьём были, конечно, детским садом. Она даже глоток на другом краю огорода слышала, а глядя на спину Рауфа, уже понимала, что тот тяпнул. Жалела! Вот если бы орала ослицей, то не завязал бы, а иконка тут, кажется, и вовсе ни при чём. Тем более на татарина она никак не действует.

Кто-то нетерпеливо попинал ворота. Потом закричал: «Ра-ауф! Аткрой, это Лида пришла, вина тебе принесла». Он затих. Осторожненько, чтобы пружины не застонали, прилёг и даже руки на груди скрестил. Умер для Лиды и для всей её родни. Они тоже нет-нет да и заглядывали. Мужики пытались пролезть ужом. Рюмочную хотели из его избушки сделать. Хрен вам!

Сын должен был приехать с внучкой на последнем омике. В письме он намекнул, что в Подмосковье у него большой коттедж. Хоть посёлок и называется Дурыкино, но люди здесь хорошие, а природа вокруг напоминает леса Поволжья. Зайцы даже к крольчихам в село забегают. Сынок с женой по утрам уезжают в город, а няньку держать накладно, да и доверия к чужим тетям нету. Рауф начал подумывать о продаже избы. Сосед, казанский дачник, вроде бы для своего зятя домик подыскивал, чтобы поближе к Волге. Рауф даже заходил к нему вчера, но того не оказалось.

На стол прыгнул червивый ранет. Посшибал рюмки и поскакал себе дальше. Рауф пошёл поправлять. С утра поползал по грядкам виктории и отыскал три спелые ягодки для внучки. Под каждую подложил листочек мать-и-мачехи. Подумал: «Виски со льдом подать или просто сунуть в морозильник?» Вспомнил из где-то прочитанного, что тогда вкус «цепенеет» и только при комнатной температуре «распускается, как букет». Напишут же!

Вынес из сеней бутылку, как сонного ребенка на руках. Плеснул осторожно в рюмку, чтобы понюхать этот самый «букет». Покрутил на солнце. Пьяные зайчики разбежались по саду. Поднёс к носу, втянул. Голова откинулась. Это был вдох, не глоток. Или всё же маленький такой, микроскопический глоток? И был он похож на пропавшего щенка, который вдруг объявился и заскулил у ног, тычась в брючину. Потом резво обежал все комнаты, куда давно не заглядывал. Легко толкая лбом тяжёлые двери, чихал, смеялся, и под конец сделал весеннюю лужу под иконой «Неупиваемая чаша». Рауф нагнулся с тряпкой и тут был повален и зацелован. Щенок на глазах превращался в барбоса...

Марат долго стучал в ворота, потом перелез через забор. Открыл дочке. Занёс сумки с едой и гостинцами. Отца нашёл под столом. Тот спал, накрывшись скатертью. Ночью он замычал, ударился головой, но, выпив, опять затих. И спал, посасывая виски, три дня. Сын полил помидоры, внучка собрала ягоды. Оставила дедушке три спелые на блюдечке. Уехали

они утром, положив подарок – французский одеколон на самом видном месте. Вот проснётся Рауф, пусть порадуется. Потом на комодке найдёт свою тетрадку со стихами, которые посвятил Мадине. У «сверчков» ведь было продолжение:

Для тебя для одной, для одной,
той, что грустной бывает так редко
на изломе вишнёвая ветка
тонко пахнет весной!

Тумырщик Семендей

Откуда они только берут эти рубашечки с мелкими васильками на заснеженном поле? Либо это ещё советский стратегический запас расходуется, либо где-то на дальней заимке скрывается подпольная фабрика по пошиву таких вот «колхозных» рубашек и строчит их день и ночь.

Парень с рыжими ресницами дремал в углу прицепного вагона. Сунул в коленки тяжёлые ладони, как колун в щель пня, и включил свои рыжие сны. Рубашка, понятное дело, была у него такая одна – выходная. Отглажена бабкой основательно, со стрелками на рукавах.

В обшарканном вагоне пассажиры отфутболивали друг другу бутылку. Из-под лавки несло поросычьим мешком. Бутылка раскрутилась и лягнула парня в ногу. Он разлепил мёдом намазанные веки, рывком открыл прикипевшее окно. Ухнул «Скорый», и обдал разгорячённым от бега ветром. Гречишное поле вдоль дороги запахло шпалами.

Парня звали Семён, но это по-русски. В марийской деревне его называли Семендеем. Имя какое-то певучее, языческое и редкое. Как будто купили в сельпо фабричный хомут и прожгли по коже узор с завитушками дикого хмеля, чтобы отличался от других. Я разглядывал его руки и видел скрипучую сбрую, которую парень натягивает на морду кобыле. Даже послышался звонкий шлепок по вздрогнувшему крупу, к которому присосался слепень...

Ему бы сбросить эту нелепую рубашку и махнуть в поле, – в родную стихию! Шагать до самого дома, одним взмахом отлавливать на лету кузнечиков, стреляющих вкось. Вдруг народ, как по команде, ожил, заволновался, потянулся к полкам за поклажей. Исписанные баллончиками бетонные заборы, утонувшие в червивых яблонях старые дачи, гаражи, пустыри... – скучное кино оборвалось, и над тёмной водой повис белый Кремль. Поезд изогнулся, заскрежетал и встал у краснокирпичного вокзала.

Семендей схватил спортивную сумку, у которой сразу же оборвалась ручка, и подпиневаемый ею, оказался вместе с серой волной пассажиров на привокзальной площади. Рыжие ресницы хлопали, а ноздри захлёбывались от пролившихся запахов, которые извивались на небольшом пятачке перед вокзалом. Хвост душных духов тянулся за женщиной в розовом абажуре платья, внутри которого семенили ножки; букет влажных ландышей осветил лицо студентки; кислый запах псины повис над бомжом, помирающим в хилой тени рябины... Дешёвым табаком пахло от водителя маршрутки.

– Мне надо до училища лёгкой промышленности! – крикнул Семендей водителю-таджику.

– А где это? – высунулась из салона жующая бесформенная баба с рулоном билетов на поясе.

– Там озеро рядом есть... – заглянул парень в бумажку.

– Мы што тебе, паролод? – пошутил таджик, и махнул рукой. – Айда, прыгай... Найдём как-нибудь!

Семендей забрался в уголок и уставился в окно. На следующей остановке влетела шумная стайка студенток и защебетала прямо над ним:

– Я смотрю, ба, а это Юрик навстречу топает. Блин, на нём такая дебильная рубашечка, – короткостриженная украдкой ткнула пальчиком в Семендея, – как будто из дачной занавески...

– ...и ещё джинсы-варёнки. Это ваще жопа! – перебила подружку смугленькая.

Парня хлестнул по ушам хохоток. Он заслонился сумкой, готовый залезть внутрь неё.

В это время потная кондукторша раздвинула худеньких девчушек, как ширму, и бросила:

– Щас выходи! И иди вперёд до светофора...

Он бросился по ногам к выходу, сумка застряла в дверях. Порвал вторую ручку. Кондукторша прокричала: «Следующая – “Кольцо”! Кто ещё не оплатил?» Семендей нахлобучил сумку на голову, как баул, и, время от времени бросая брезгливые взгляды на свою рубашку, добрался до конца улицы. Неожиданно вышел к зелёному озеру, которое чахло посреди города. Тут же сбоку, во дворике трёхэтажного здания, заметил толпу молодёжи с родителями. Понял, ему туда. Спустился к озеру, стащил с себя рубашку и комом сунул в сумку. Переоделся в застиранную майку, которую взял, чтобы носить в общаге. Огляделся вокруг, высматривая кусты, куда бы спрятать эту безухую сумку, но вокруг всё было загажено.

– Папироска есть? – из-за ивы показался мужик с сачком. Только вместо рыбы в пакете громыхали алюминиевые баночки.

– Бросил! – признался Семендей, а самому захотелось подымить.

– Ну, молодец... – тот подобрал окуроч. – Сам откуда? Агрыз? Мамадыш?

– Из деревни Паймас. Это в Марий Эл.

– Помню, лыжи такие были – «Марий Эл»! Я ведь раньше гонщиком был. На лыжах гонял!

Вот тут по озеру.

Они присели на скамеечку. Помолчали.

– Вы здесь ещё будете? Минут пять... – Семендей занервничал, увидев, как толпа начала просачиваться в здание училища. – Я только документы отдам...

– Давай, сынок, дуй куда надо... Я покараулю.

Семендей перебежал дорогу. В воротах налетел на группу пацанов.

– Оба-на, пополнение! – наглый с прыщами, протянул ему плоскую ладонь с жёлтыми от табака пальцами.

– Слышь... Молодой! – маленький и гундосый, харкнул Семендею чуть ли не на носок кроссовки. – Мы тут директрисе на веноч собираем. С баб полтинник, с мужиков – столярник...

– Я принесу... – Семендей побежал обратно.

На скамейке лежал целлофановый пакетик с образком Николая Угодника. Парень огляделся, но гонщик уже умчал. И на том спасибо, добрый человек, только почему-то жалко стало рубашку с васильками...

Вошёл в старинное здание училища с толстыми крепостными стенами и сразу же из летнего пекла попал в осень. По углам паутиной свисали сумерки, в туалете ревели ржавые трубы. Потолок давил, покрываясь трещинами...

Он так ни с кем и не подружился. Ходил на занятия, как тень. Безропотно отдавал стипендию, хотя мог бы зашибить одной только оплеухой. Его прозвали Рыжиком. Однажды попытался познакомиться с белесой девушкой-марийкой, которую увидел в стенах училища на выставке прикладного искусства. Она, прикусив губу, сосредоточенно расписывала потешный лубок, там, где мыши хоронят кота. Он смотрел-смотрел, и неожиданно хриплым голосом похвалил:

– У вас красивый лубок. Я такой лубок видел в детстве у соседки Тайры... Лубок – очень интересная вещь...

Семендей взмок, пока произносил свой неуклюжий комплимент, но вместо «лубок» почему-то три раза подряд произнёс «лобок». Когда понял это, покраснел, как свёкла, и смылся.

Рядом с училищем находился зооботсад. Из-за запахов и запущенности горожане сюда не особо ходили. Но Семендея уже узнавали на входе и даже отрывали ему детский билет, так подешевле. Он проносил за пазухой бутылку пива и направлялся к волчьей клетке. Семендею казалось, что этот волк вышел из леса у деревни Паймас. Точно такого с обиженным лицом он несколько раз встречал, когда ходил за жердями...

Оглядываясь вокруг, просовывал горлышко в клетку. Волк, урча, быстро опорожнял бутылку и потом слизывал сладкую пену с цементного пола. Пьяный зверь улыбался, ронял

морду на лапы и молча смотрел на своего «товарища» грустными слезящимися глазами. Волк превращался в человека, а Семендей наоборот дичал. Он готов был выть... Писем своей бабушке парень не писал. Несколько раз начинал, но, вспомнив, что почтальонша Настюха вскрывает чужую корреспонденцию, комкал исписанный листок... На следующее утро он решил не ходить в училище. Накрапывал дождь, небо и фасады затянуло мешковиной. Семендей купил пирожок с ливером, откусил. Мимо пронеслась девушка в маковом плаще, как лепесток, сорванный ветром, и обдала летом. Хлынул ливень – первый осенний, и погасил жёлтое солнце клёнов. Парень стоял и слушал водосточную трубу, которая вздрагивала от бьющихся внутри струй. Объявление, написанное от руки на четвертинке тетрадной страницы, медленно сползало по трубе, смываемое дождём. Он остановил бумажку пальцем...

В самодеятельный коллектив марийского народного танца и песни «Арняша» требуется тумырщик. Адрес...

Через полчаса его глаз уже моргал в щелке света, выбивающегося из небольшой комнаты, где шумели старушки. На них были белые рубахи с красной вышивкой и расписные шимакши на головах. Лица сияли, как пирожки! Одна румяная и кругленькая завела песню, другие подхватили. Запахло полынью и сладковатой стружкой от липовых чурок, из которых режут черпаки, похожие на игрушечные ладьи. Семендей вспомнил такой черпак из своего детства, который плавал в кадке с квасом. Он осторожно потянул ручку на себя и, оказавшись в центре расступившегося круга, начал тихо подпевать... Случайно коснулся рукой барабана, и тот отозвался глубоким «уух!». Мокрая куртка уползла, как шкура, куда-то под стул, рука приобняла барабан, а другая – подушечками пальцев принялась поглаживать холодную серую кожу. Тот потихоньку оживал. Следом проснулись сиплый рожок и глупая трещотка. Комната поплыла – красно-белые полосы рубах и зелёные штор. Засохшие цветы из опрокинувшейся вазы захрустели под ногами, и такой горький аромат пошёл, как будто бы старушки топтали ромашки в поле.

– Ну, молодец! – кто-то поглаживал его по плечу.

– Как тебя зовут-то, парень?

– Семендей...

– Ах, если бы Абдай слышал, как ты сегодня играл!

– Кто это? – спросил опьяневший от тепла Семендей.

– Хозяин тумыра. Помер недавно.

– Да чё ты говоришь-то, Янипа? На этой тумыре играл ещё Кубакай, а лишь потом, когда он угорел в бане, Абдай пришёл.

– Ну, хорошо! Теперича вот Семендей играть будет...

В голове ещё пели старушки, и стучал тумыр, когда Семендей вошёл в класс и сел на своё место.

– Семён, тебя не было три дня! – услышал он дрожащие нотки над головой. – Ты что, болел?

– Нет.

– Тогда, что же?

– Ну, я это... Со старушками играл на тумыре...

Смех заплясал в классе и умер ухмылкой на тонких чернильных губах учителя. Семендей выскочил и тут же сбил с ног Шакира, вожака местной шпаны.

– Ты, бля, Рыжик, совсем оху... что ли! – он больно ткнул костяшками кулачка ему под рёбра.

И вдруг внутри Семендея пружина выпрямилась и зазвенела. Широкая пятерня скомкала зловонную мордочку Шакира и начала отрывать голову от тщедушного тельца. Кто-то прыгнул на Семендея сзади и стал душить, на его крепкой, как ствол дерева, руке повисли остальные.

Парень рычал волком, расшвыривая их по коридору. Последний размашистый удар вслепую пришёлся прямо в напудренный лоб директрисы. На выручку ей уже трусил с трубочкой кроссвордов отяжелевший от обеда охранник. Семендей одним прыжком очутился на подоконнике, вторым – перелетел через репей и... Последнее, что услышал, когда летел, было кем-то брошенное из преподавателей: «Надо же, а на вид такой тихий парень!»

Уже привычно, без опаски, покрутил барабан в руках. Тихонько выбил тремоло, прислушался, потом озорно шлёпнул, как будто прихлопнул слепня на крупе коня, и вдруг тумыр завертелся, принимая градины ударов и редких поглаживаний. Непостижимо, как это кусок телячьей кожи под пальцами марийского парня способен был вспомнить и повторить все эти деревенские звуки: топора, тюкающего по звонкой сосне, топота копыт по мягкой пудре дороги, ночных стуков и кашля домового, раскатов далёкого, но пустого грома, свободного полёта ведра к далёкой колодезной звезде...

Семендей заснул, уронив голову на ещё гудящий тумыр. Из глубины колодца услышал старую марийскую песню. Приподнял отсыревшую крышку и оказался в залитой солнцем избе. Улыбнулся, узнав свою бабу, протирающую светящееся в руках блюдо, которое вдруг оказалось нимбом Христа на иконе. Она и нимб тоже старательно вытерла, встав на хлипкую табуретку. Семендей протянул руки, чтобы поддержать. Увидел, как светятся сквозь ночную рубашку крепкие икры. Осторожно приобнял, пальцы скользнули вверх и... Бабушка ойкнула голоском соседки Тайры и уронила мокрую ветошь на пол. Тайра шептала, жарко прижимаясь к нему животом: «Не плачь, Семендей, всё будет хорошо...»

Он проснулся, но ещё долго лежал на чьих-то острых коленках, пахнущих плесенью и пивными дрожжами, боясь открыть глаза, чтобы не потерять свою Тайру. Он лежал и слушал, как кто-то воркует над его ухом, распутывая непослушными ревматическими пальцами узелки в волосах: «Не плачь, всё будет хорошо...»

А за окном дождь не унимался. На потолке набухали жёлтые капли и падали на тумыр. В комнате стоял стон...

Дыра

От своего дома в пригороде Казани Насима добиралась до редакции полтора часа. До автобусной остановки идти было далековато, и она стояла на трассе с поднятой рукой. В легковушки не садилась. Мотала головой и пяtilась. Наконец, разбрызгивая лужи, тормозила отяжелевшая маршрутка. Всегда битком. Стиснутая со всех сторон, Насима забывалась в полусне, и не сразу замечала чью-то наглую пятерню, которая грелась на её бедре.

В редакции газеты девушка сидела на «горячей линии» – где-то прорвало трубу, у кого-то отключили отопление... Жалобы заносила школьным почерком в амбарную тетрадь. К работе относилась прилежно, особо не задумываясь, что диплом журфака предполагал нечто большее.

За неделю до 31 декабря о ней вдруг вспоминало руководство и поручало изображать на корпоративе милого зверька, который символизировал Новый год. Так она уже рычала, хрюкала, пищала, что вызывало пьяный восторг у сотрудников. В этом году примерила костюм белого зайчика, но в свои двадцать шесть играла уже как-то тяжеловато, без задоринки. Но её похвалили, усадили за стол поближе к потеплевшему главному редактору и поставили перед ней целую тарелку очищенной моркови. Она попыталась улыбнуться, но предательски брызнули слёзки...

Дальний конец посёлка Селикатный, где проживала Насима, превратили в свалку. Сюда торговцы придорожного рынка свозили протухшую рыбу и летом жителей душил вонючий ветерок. Чайки перебрались сюда с волжских просторов и породнились с воронами. С неба падали обглоданные рыбы головы и хребты.

За окном чудом уцелевшая от вырубленного бора старая сосна кидалась в Батыя шишками. Пёс поскуливал. Сосна напоминала ей о маме, которую у самого дома сбила машина. Глубокая рана на стволе затянулась, но шрам ещё белел. В тот день пьяный сосед решил сгонять за водкой...

От мамы ей остались аудиокассеты с итальянской эстрадой и старый портативный магнитофон «Романтик». Иногда Насима ставила её любимые песни: «Mamma Maria» или «Casa Mia». Носила с собой в сумочке два маминых снимка, на которых та была похожа на Орнеллу Мути. Когда прошлым летом итальянская звезда приезжала на открытие Казанского кинофестиваля, девушка простояла под дождём два часа, чтобы только увидеть свою маму. Но из лимузина вышла чужая располневшая тётенька.

В августе в тени беседки скромненько отпраздновали двадцатисемилетие Насимы. Забежали подружки-соседки, потом зашла Марзия-апа с внучкой-семиклассницей и протянула белое блюдо с голубой волной, бегущей по краю. На дне был нарисован весёлый городок – *Marmaris*.

Сказала, что к внуку приехал друг из Турции. Когда сад погрузился в прохладные сумерки, тот появился. Ополоснув лицо из шланга и взбив кудри, начал, жестикулируя и коверкая русские слова, что-то объяснять старушке. Был чересчур возбуждён, как будто выпил. Потом послышались удары топора, потянуло сладким шашлычным дымком. Насима поливала дамские пальчики, когда внук Марзии окликнул её из-за заросли малины: «Айда к нам! С другом познакомлю...»

Турка звали Азиз. Рядом с ней он притих, но после третьей рюмки его пляшущие короткие пальцы, как-то ловко так щёлкая в воздухе, несколько раз пробежали по её коленке. Из путаного рассказа она поняла, что в детстве родители отдали его в музыкальную школу, окончив которую он стал продавать подержанные японские автомобили. Три дня Азиз искрил вокруг неё. Они гуляли по парку «Миллениум», фотографировались у изливающейся чаши. Усадив на скамейку, заросшую плющом, он театрально встал перед ней на колени и сделал

предложение. Она даже не помнит, ответила ли «да». Может, только кивнула? На следующий день Азиз исчез. Она заглядывала из-за забора во двор к Марзие, прислушивалась, – тишина!

Вскоре в фанерном ящике, прибитом к воротам, стали появляться весёлые открытки из Мармариса. Когда наступила зима и крышка ящика начала примерзать, эти послания напоминали ей лето. Прежде чем открыть, она их обнюхивала. Он писал большими буквами с забавными описками. Украшал листочек амурами и пронзёнными сердечками. Старенький бабушкин буфет помолодел от этих открыток, а две самые красивые даже появились в уголках деревянной рамки шамаила, которую смастерил ещё дедушка. Как-то майским утром в почтовый ящик упало письмо с приглашением. Этот звук она услышала, находясь в редакции. Разве такое возможно? Над ящиком распустился куст сирени и намалевал на фанерке свою кудрявую фиолетовую тень.

Давани, промокая уголком косынки глаза, раскатывала тесто. Вечером прибежали подружки-соседки и принялись завидовать Насиме. Звучала «Мамма Магя», потом что-то татарское... Пришлось успокаивать бабушку. Что тут такого? Насима едет знакомиться с его родителями, а через несколько недель они с Азизом вернуться в Казань и здесь распишутся. До этого, как и положено, будет никах¹⁴...

Всё дальнейшее пробежало как во сне. Самолётик вынырнул из розового облака, и Насима увидела игрушечные домики. Измир пылал от жары. Ей казалось, что она смотрит на себя со стороны. Вот, пружиня на носочках, она спускается по трапу. Горячий турецкий ветер развязывает ей бантик и распускает косу, заплетённую бабушкой. Вокруг Азиза толпа встречающих размывается. Лицо ему освещают огромные розы. Ярко-бордовые цветы ползут по белой стене аэропорта к безумно голубому небу...

Они едут в Мармарис. В машине Насима улыбается, погружённая в своё счастье. Внизу, под обрывом, шумит море. Кабриолет Азиза, ныряя в глубокую тень, спускается по серпантину на пляж. За последним поворотом море неожиданно встало на дыбы, обрызгало и ослепило новобрачной пеной. И вот уже парус скатерти захлопал в ловких руках официанта. Порванная рыбацкая сеть отделяла кафе от галечного пляжа. Насима почувствовала, как мелкая соль от высокой волны увлажнила плечо. Обернувшись, там за обнажённым стволом платана стояла бронзовая девушка и читала книгу. Насима немного подвинула свой стул влево, чтобы закрыть её от Азиза...

Официант поставил на столик два керамических горшочка. Под крышечкой кипела горячая волна с морскими обитателями. Запахло йодом. Поужинав, они отправились дальше. Сначала вдоль побережья, мимо курортных городков и дискотек, где уже начинала шевелиться ночная жизнь, затем стали круто взбираться в гору. Далеко внизу за хвойными лапами блеснули огоньки отелей. Автомобиль как будто бы взлетал!

Только посреди ночи добрались до места. Азиз внёс в тёмный коридор чемодан и сумки. Внутри пахло першистой травой. В спальне стоял кувшин с засохшим букетом, на тарелке ломтик сыра покрылся зелёным пушком. Она принялась всё это убирать, но Азиз остановил её. Торопливо открыл бутылку розового вина, посадив себе пятно на шорты, ополоснул газировкой два пыльных бокала, и притянул к себе Насиму. Кривая турецкая сабля повисла на золотом гвоздике звёзды...

Утром она выскользнула из объятий Азиза. Налила в таз воды и принялась тихонько прибираться. Пыль выросла, как плесень, забытые мусором пакеты были рассованы по всем углам. Дом напоминал узкий пенал в два этажа с запущенным садиком у входа. В кладовке наткнулась на открытую коробку с сувенирными тарелочками, на которых был изображён Мармарис.

¹⁴ Никах – бракосочетание по законам шариата.

Пообедали элешами¹⁵. Потом прогулялись в магазин. Вечером пришла бабушка Шафак, похожая на тучу. Она, не замечая Насиму, долго отчитывала Азиза. На рассвете он укатил. Сказал, за новой партией машин. Появился только через месяц. Исхудавший и уставший. Отоспался, и через три дня снова исчез. За то время пока его не было, Насима покрасила дом снаружи, подклеила обои, прополола заросший садик, обнаружив там всеми забытый куст жёлтых роз. Разбила небольшой огородик, посадила помидоры и перец. Закрыла большим железным листом брешь в заборе, куда со свалки на горе скатывался разный мусор. Расчистила задний дворик, где по скале карабкалась кривая сосенка, и поставила рядом два плетёных кресла... Ещё попыталась научить бабушку Шафак делать татарскую лапшу. Показала, как можно быстро превращать тончайший блин теста в горку пуха, но та сразу полоснула себе по пальцу.

¹⁵ Элеш – круглый татарский пирожок с курицей и картошкой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.